

Людмила Разумовская

АПОСТАСИЯ ОТСТУПНИЧЕСТВО

РОМАН



Людмила Разумовская

Апостасия. Отступничество

«Издательство Сретенского Монастыря»

2016

УДК 821.161.1-312.1Разумовская
ББК 84(2=411.2)6-44

Разумовская Л. Н.

Апостасия. Отступничество / Л. Н. Разумовская —
«Издательство Сретенского Монастыря», 2016

ISBN 978-5-7533-1225-9

О русской катастрофе – революции 1917 года – и ее причинах написано так много... и так многое становится уже ясным, и все равно остаются тайны. Тайна отречения государя. Тайна Божественного Домостроительства. Тайна России... Книга написана о времени до- и послереволюционном. Ее вымышленные герои живут и действуют наряду с историческими персонажами в едином потоке социальной, общественной и художественной жизни. История главных героев прослеживается от юности практически до конца, и это дает возможность увидеть судьбу человека не только в ее борении со страстями или жизненными обстоятельствами, но и в ее духовном становлении и росте. Опыт, который пережил наш народ, наша страна, нуждается во все более глубоком, вдумчивом и непрестанном осмыслении. Мы не имеем права забывать о духовном предназначении нашего земного Отечества, о том Промысле Божиим, который призвал из языческого времени – в вечность Святую Русь, и о том, и что в каждом из нас, кто сознает себя причастником земли Русской, хотим мы этого или не хотим, заключена ее невидимая частица.

УДК 821.161.1-312.1Разумовская
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-7533-1225-9

© Разумовская Л. Н., 2016
© Издательство Сретенского
Монастыря, 2016

Содержание

Была бы жива Россия...	7
От автора	9
Пролог	10
Часть первая	12
1	12
2	16
3	23
4	26
5	29
6	32
7	34
8	41
9	45
10	49
11	54
12	61
13	68
15	74
16	85
17	90
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Людмила Разумовская

Апостасия. Отступничество

© Разумовская Л.Н., 2016

© Сретенский монастырь, 2016

Была бы жива Россия...

Как давно замечено, единственный урок истории состоит в том, что люди не учитывают ее уроков.

Новая книга Людмилы Николаевны Разумовской направлена против непреложности и окончательности этого невеселого вывода. Именно уроки русской истории на одном из самых крутых и смертельно опасных ее витков (революции 1905 и 1917 годов, Первая мировая война, их многообразные причины и грандиозные по своему трагизму и судьбоносности следствия) стали основой романного сюжета и главным предметом глубоких размышлений и переживаний автора. Прослеживая, шаг за шагом, жизненные пути главных героев и других многочисленных персонажей книги, вымышленных и реальных, читатель постепенно начинает замечать, как много поразительных параллелей существует между тем временем и нашими днями. Ныне, как и тогда, Россия оказалась перед лицом великих испытаний и надвигающейся, разрастающейся катастрофы. Ныне, как и тогда, в пространстве мировой истории активизировались все те же противоположные силы, приближающие катастрофу или противостоящие ей. Только все это происходит уже на новом уровне, на еще более крутом витке истории и в ином масштабе разрушений, грозящих всему человечеству.

«Сейчас уже гораздо позже, чем нам кажется», – предупреждал в конце XX века известный православный подвижник американского происхождения иеромонах Серафим (Роуз). И вот наступил XXI век с его глобальной нестабильностью и ошеломляющей стремительностью событий. Необходимо отчетливо осознать, что никакого времени и права на повторение прежних ошибок у нас нет. Вот почему так важно всмотреться в «дела давно минувших дней» и наконец как следует понять и непременно учесть их уроки. Как представляется, именно с такого рода мыслями, ради таких целей и задач Людмила Разумовская взялась за перо. Она решила вновь поднять и осмыслить огромный и сложнейший исторический материал, изученный и малоизвестный, причем стремилась организовать его так, чтобы у читателя возникло ясное, цельное и правдивое представление о сути происходившего тогда (а значит, и происходящего сегодня).

Можно только догадываться, какая большая и серьезная работа предшествовала написанию романа. На его страницах представлены емкие, выразительные и мастерски написанные портреты самых разных деятелей русской истории. Это чета царственных страстотерпцев, сановники и генералы (в большинстве своем предавшие царя), представители думских фракций, масонского Временного правительства, проложившего дорогу большевикам, лидеры большевиков, всеми способами и средствами рвавшиеся к власти и дорвавшиеся до нее, сражавшиеся с ними и терпящие трагическое и неизбежное поражение командующие Белой армией, известные писатели, театральные деятели, философы Серебряного века, архиереи Русской Православной Церкви, наконец, старцы, подвижники, исповедники, жившие в ту наисложнейшую эпоху. Как представляется, именно опора на прозорливую мудрость святых отцов позволила автору разобраться в хаосе событий, увидеть и показать их в свете Истины.

Вымышленные персонажи романа органически встраиваются в панораму истории и кажутся убедительными, узнаваемыми благодаря метко переданным индивидуальным и типическим чертам, выразительным речевым характеристикам, внутренним монологам и ярким проявлениям личностной позиции в динамичных диалогах и горячих спорах (здесь сказалось драматургическое мастерство автора книги).

Ф. М. Достоевский, приступая к созданию романа «Бесы», направленного против угрозы надвигающейся революционной смуты, писал одному из своих корреспондентов (Н. Н. Страхову), что иногда необходимо брать в руки плеть и не защищаться, а самим нападать, да поре-

шительней. В результате был создан гениальный роман-памфлет, роман-пророчество, роман-предупреждение.

Людмила Разумовская, обратившаяся к той же теме, использует опыт великого писателя. Ее сильнейшим оружием становится неотразимая, тонкая, меткая разоблачительная ирония, примененная и к «буревестным» представителям либеральной интеллигенции, и к художественной элите Серебряного века, в лице иных своих лидеров пребывавшей в прямом разврате (мистическом и плотском) и всеми силами призывавшей «Революцию Духа». Блестяще-иронично представлен в книге портрет эмансипированной дамочки, в равной степени восторженной, безнравственной и бестолковой. С горькой иронией изображен близкий ей круг студентов-бомбистов, бредящих свободой, но при этом готовых на крайнее насилие и пребывающих в рабском послушании умелым кукловодам. Террор, какими бы высокими лозунгами он ни прикрывался, изобличен в романе во всей его чудовищной демонической сущности, и этот диагноз более чем актуален.

В книге есть и коллективный портрет так называемых «народных масс» – сбитых с толку, мятущихся, одержимых бесами революции и на глазах превращающихся в дикую орду, скорую на самую жестокую, бессмысленную и бесчеловечную расправу.

Автор подводит читателя к выводу, что во всей пестроте, многообразии и кровавом хаосе событий просматривается одна духовная первопричина – АПОСТАСИЯ, всеобщее отступление от Христа, утрата Его образа в человеческих идеях, желаниях и поступках. К этой же озаряющей мысли приходят в результате пережитых трагедий лучшие персонажи романа. Большинство из них не сумели сохранить жизнь, но они успели сделать главное – встать на путь спасения души.

Перед нами – сильная, смелая и трудная книга. Трудная потому, что требует от читателя большой и серьезной работы ума и сердца. Та правда, которая в ней заключена, часто вызывает сильную боль. Но боль – верный признак того, что мы живы. И призваны сделать все, чтобы жила наша Россия – последний Удерживающий в этом мятущемся мире, – а вместе с нею люди и страны, города и веси, и «всякое дыхание» – те, которые по Божьей воле и милости достойны жить на Земле.

О. Б. Сокурова, доктор культурологии, доцент Института истории Санкт-Петербургского университета

От автора

Долгое время человечество уповало на исторический прогресс: социальный, нравственный (почему-то зависящий от социального), научно-технический, видя в нем одновременно и некую высшую цель, и инструмент, который должен привести нас ко всеобщему благу.

Священное Писание дает нам иную картину видения истории. Оно говорит о всеобщем тотальном отступлении от Бога, ведущем к нравственной и духовной деградации, к тому состоянию мира и человека, который, в силу своего отпадения от Истины, окажется способен принять антихриста и поклониться ему.

Еще в кажущемся нам благополучном девятнадцатом веке святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею». Отступление (апостасия) есть не что иное, как ряд падений через те или иные соблазны. Господь говорит: «Надобно прийти соблазнам». Для чего? Для того чтобы в искушениях (испытаниях) обнаружить верность и верных Богу. («Остаток [верных] спасется».)

Мы называем наше время апостасийным, временем духовного оскудения, отступничества. Можно поставить цель и проследить шаги отступления в русской и мировой истории. Вероятно, мы и увидим это на Страшном Суде, когда будут судиться не только отдельные личности, но и все народы, их история. Когда, по словам поэта, «...ко Мне на суд, как баржи каравана, столетья поплывут из темноты...».

Тем не менее мы не можем не указать на одно радикальное событие в нашей истории, придавшее значительное ускорение апостасийному процессу, – церковный раскол семнадцатого века и последовавшие вслед за ним те духовные соблазны, которые далеко не всегда мы умели преодолевать, а иные и доныне остаются нами не осмысленными и не преодоленными.

Укажем на одно из них: духовное пленение Западом, из чего произошли все главные разрушительные идеи-соблазны для России девятнадцатого века – атеизм, масонство, антимонархизм, интернационализм, коммунизм (хилиастический соблазн построения на земле царства Божия без Бога). Все эти духовные болезни, свойственные прежде всего высшему сословию и большей части образованного общества России, вкупе с утратой веры, монархического сознания и презрением к отечеству послужили той почвой, на которой взращивались поколения за поколениями жаждущих во что бы то ни стало разрушить старый мир «до основания, а затем». (Это «затем» мы переживаем – и переживаем – до сих пор.)

Вина за русскую катастрофу семнадцатого года во многом лежит на российской интеллигенции («Да, сей пожар мы поджигали, и совесть правду говорит...»), развязавшей «эолов мех» революционных бурь, накликавшей *Февраль* и получившей в отместку себе и всей России *Октябрь*. Но если в идеях социализма-коммунизма еще можно отделить зерна от плевел и найти нечто здоровое (например, идею социальной справедливости), то в последних соблазнах для России – подчинении власти трансграничной мамоны – чудится уже *ничто*, стоящее «близ... при дверях...».

Пролог

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

Мф. 18, 7

...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал.

Александр Пушкин

Дважды являлась во сне... (да страшно и вымолвить такое, не прелесть ли?) Сама Пречистая Владычица наша Пресвятая Богородица! (Ой, кому и довериться, скажут: «Сдурела баба! Нашлась святая перервинская мужичка-вдовица с выводком: мала-мала!»)

Да ведь и не просто молча являлась, а с заданием! «Есть в Коломенском селе большая Моя икона черная. Ее нужно взять и сделать красной – пусть молятся».

Вот уж сон так сон! Вот и понимай как знаешь.

Пошла к местному батюшке. Тот замахал руками, чуть не затопал:

– Окстись, Евдокия! Нам с тобой по грехам нашим только бесы могут являться. Молчи! Искушения не понимаешь – молчи!

– Я уж и сама, батюшка, так рассудила. А только...

– Ну?

– Я и в другой раз то же самое видала. Церковь большая, белая, а в ней икона громадная. Матушка наша Богородица как царица на троне восседает и в ручках Своих царский скипетр и державу держит... Уж как хотите, батюшка, что видала, то видала, врать не стану.

Ничего больше не ответил отец Михаил. Только:

– Иди, Евдокия, с Богом. Некогда мне.

А уж как в третий раз явилась ей Богородица, да так сурово на нее взглянула – что ж ты, мол, повеление Мое не исполняешь! – не стала Евдокия мешкать, ничего уже отцу Михаилу не сказала, а собралась да и поехала в Коломенское.

Приезжает – Матерь Божия! – та самая церковь, что во сне привиделась, громадная, белая, как шатер на высоком берегу Москвы-реки великим князем Василием в честь рождения сына, будущего Грозного царя нашего Иоанна Васильевича, отстроена.

Нашла настоятеля. Так и так, уж как хотите, батюшка, хотите – казните, хотите – нет, а только надо ту икону найти. Боюсь я, разгневается Матерь Божия.

Стали искать. Весь чердак облазали – сердиться отец Николай начал.

А на другой день второго марта (запомнила Евдокия!) нашли наконец в подвале под грудой старого хлама черную от грязи и копоти большую икону. Стали отмывать, и вот – чудо! Предстала пред ними Матерь Божия в небывалом доселе образе: в порфире, с короной на голове, со скипетром и державой в руках. Точь-в-точь как в Евдокиином сне.

Матушка, Царица Небесная, благослови!

Что за явление? О чем Матерь Божия пророчит? Вся Россия – дом Пресвятой Богородицы, и то – все знают! И вдруг...

Истошный вопль прорезал тишину древнего Коломенского.

– Царь отрекся-а-а!.. Николашку Кровавого свергли-и! Сво-бо-да-а-а-а!..

Взглянули друг на друга Евдокия с отцом Николаем и как подкошенные рухнули враз на колени – брызнули слезы из глаз, из груди стон вырвался.

– Заступница усердная! Матерь Господа Вышнего! Так, значит, вместо Него теперь Ты власть над нами приемлешь! – И, осеняя себя крестным знамением, заплакали горько...

И возликовала Россия!

И покрылась вся кумачом. И потекли по столицам, по всем городам и весям красные реки – из красно-кровавых флагов. И, долгожданная, пришла для российского народа Весна. И облобызались все сословия людей русских в единой радости по поверженному, не нужному теперь никому, как сор, царю.

Кому – Пасха настала, а кому – судный день!

И шли с красными бантами в колоннах: великие князья и прославленные генералы, заседавшие в Думе государственные мужи и проживающие за границей дедовское наследие дворяне, заслуженные профессора и пламенеющие студенты, мирный чиновный люд и фрондирующие учителя, юные гимназисты и городские обыватели, ученые люди и люди простых званий, прогрессивные адвокаты и независимые судьи, свободолюбивые художники и бунтари-поэты, знаменитые артисты и бравые военные, совесть нации – писатели и сознание страны – представители прессы, кухарки и истопники, торговцы и содержатели публичных домов, почтовые служащие и рабочие заводов и фабрик, и все-все-все!

Шел генерал Алексеев, любимец царя и его предатель.

Шел генерал Корнилов, доблестно пленивший царскую семью.

Шел «монархист» Шульгин. И другой «монархист», Гучков, совместно вырывавшие отречение от престола.

Шел патриарх русской сцены Константин Станиславский.

Шел «трагический тенор эпохи» Александр Блок.

Мчался на всех парах в plombированном вагоне из Германии Ульянов-Ленин.

Плыл на всех парусах из Америки на корабле Лейба Троцкий.

Рвалась в столицы отборная гвардия интернационала.

Возвращались из тюрем отпетые каторжники.

Бежали с фронта домой усталые солдаты.

И трезвонили колокола.

И благословляло начало новой жизни священство.

И празднично-легко отрекшаяся от помазанного на царство государя Россия начинала свое великое падение во тьму.

Часть первая

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

Александр Пушкин

*Да, сей пожар мы поджигали...
Вячеслав Иванов*

1

Глебушка родился в Киеве за два года до начала нового, двадцатого века. Матушка его Елизавета Ивановна происходила из старинной, давно обедневшей фамилии. Она ревниво прослеживала свой род вплоть до шестнадцатого века и по материнской линии считала себя последней из Рюриковичей, чем втайне гордилась более, нежели своими большими синевасильковыми глазами и темно-русой косой, покрывавшей ее всю, когда Елизавета Ивановна распускала волосы.

– Рюрикович мой! – нежно шептала Елизавета Ивановна своему маленькому кудрявому ангелочку, и тот повторял за матушкой, плохо выговаривая:

– Юевич!

Отец Глебушки не приветствовал подобных сентиментальностей, да они при нем Елизаветой Ивановной и не произносились; Тарас Петрович был из поповичей.

Батюшка его – отец Петр священствовал в Южной Малороссии в Бог знает каком поколении и, родив с матушкой Олесей одиннадцать детей, всех пустил, как и полагается, по духовной линии: сыновья – дьяконá да священники, дочери – все поповские жены, матушки. И только один Тарас не захотел пойти проторенным до него поколениями предков священническим путем. Он окончил Киевский Императорский университет имени святого Владимира и, защитив диссертацию, стал молодым профессором на историко-филологическом факультете.

Тарас Петрович и Елизавета Ивановна были женаты вторым браком. Первая супруга Тараса Петровича умерла давно и бездетной, и когда красавица-жена его университетского приятеля профессора права Елизавета Ивановна Словенова овдовела, он сделал ей предложение.

От первого брака у Елизаветы Ивановны было двое старших сыновей: Петр и Павел. Маленький Глебушка родился от второго брака, с Тарасом Петровичем.

– Юевич, – время от времени повторял Глебушка, глядя на отца материнскими васильковыми глазами, и тыкал себя пальчиком в грудь.

Тарас Петрович благодушно вскидывал брови.

– Рюрикович, говоришь? Ничего, брат. Скоро у нас ни Рюриковичей, ни Романовых не останется. Прогресс, братец ты мой, он и в Африке прогресс! – И подбрасывал сына высоко вверх; тот начинал дико визжать от восторга и требовать еще.

Тарас Петрович, как и почти все русские профессора, был большой либерал. Его либерализм простирался весьма далеко, по крайней мере, марксистская теория о классовой борьбе

его не пугала, а разгулявшийся в стране террор он не то чтобы окончательно одобрял, но все-сторонне оправдывал.

Тарас Петрович стоял за конституционную монархию, хотя не исключал для России в отдаленном будущем («дети увидят!») и республики. Еще в ранние свои студенческие годы он всей душой откликнулся на свободололюбивые идеи народовольцев и, не входя в партийное членство, сочувствовал деятельности этих «достоинейших людей России, пекущихся о благе народа и умученных царскими сатрапами». Он весьма сожалел, что бомба Гриневицкого унесла жизнь Александра Второго akurat в тот момент, когда царь уже готов было подписать манифест о даровании Конституции России. («Черт бы побрал этого Гриневицкого, – досадовал Тарас Петрович. – Угораздило же его, черта, именно в этот день!») Но, увы, призывание черта дела не меняло, благоприятный момент был упущен. Хотя Исполнительный комитет «Народной воли» и объявил новому царю ультиматум: либо добровольная передача власти народу, либо скорая и самая беспощадная революция, – с таким, как оказалось, чугунно-дубиноголовым царем не забалуешь. С воцарением Александра Третьего о конституционных мечтаниях можно было забыть если не навсегда, то, по крайней мере, до конца его царствования (к счастью, оно оказалось недолгим: царь-богатырь умер внезапно, и ходили упорные слухи о смерти его не совсем естественной).

Надежда окрылилась с восшествием молодого Николая Второго, по общему мнению, человека слабого и недалекого. «Ходынка» привела Тараса Петровича в неистовое возбуждение самых противоречивых чувств: гнева, злости, негодования и какой-то тайной радости и удовлетворения. «Ужо тебе!..» – то и дело почему-то повторял профессор невнятную угрозу царю пушкинского Евгения из «Медного всадника».

Высоко чтит Тарас Петрович и подвиг декабристов-народолюбцев, пытавшихся еще три четверти века назад покончить с тиранией царизма, и, заглядывая еще дальше, в глубь века осмнадцатого, сокрушался о том, что племянница Петра Анна Иоанновна, вступая на престол, самодурственно разорвала голицынские кондиции, ограничивавшие ее самодержавные права и открывавшие для России широкий европейский путь свободы, равенства и братства, ведя сперва к ограничению, а потом и к упразднению монархии.

Не раз лекции Тараса Петровича оканчивались бурными аплодисментами легко воспламеняющихся студентов, чуть что, начинавших бунтовать. С умилением сердца вспоминал Тарас Петрович студенческую забастовку тысяча девятисотого года, начавшуюся еще в тысяча восемьсот девяносто девятом в Петербурге, казалось бы, из ерунды: из предупреждения ректора студентам не буянить и не пьянствовать после торжественного акта. Студенты сочли это неслыханным оскорблением их чести, и когда, освистав ректора и сорвав акт, вышли тысячной анархистской толпой на набережную и полиция потеснила их в сторону от Дворцового моста (и даже применила – о ужас! – нагайки), возмущение правительственным насилием как ветром сдуло давно исшатавшуюся преграду последней лояльности властям. Студенты объявили правительству бойкот. Питерских универсантов поддержали Москва, Киев и все провинциальные университеты, все забастовали, лекции прекратились, все встало. Те из профессоров и студентов, которые хотели учить и учиться, подвергались обструкции и не допускались в аудитории.

Общество целиком клонилось на сторону «оскорбленных», подзуживая беспорядки продолжать. Никто и не вспоминал, что бо́льшая часть студентов – из неимущих, что половина из них освобождена от платы за обучение, а четверть получает стипендии от государства. Это было так естественно – не чувствовать никаких обязанностей (тем паче благодарности), только отстаивать права.

Но – вот еще неожиданная подлость! – власть вдруг обиделась, и пришло ей в голову бунтовщиков примерно наказать. По предложению Витте (а министр народного просвещения Боголепов тут же и подмахнул «Временные правила») не опомнившихся бунтарей стали исключать из университета на год и больше и на это время отдавать (для вразумления) в войска.

Эта «наглая выходка» правительства переполнила чашу терпения «всех честных людей».

Когда около двухсот студентов из-за университетских беспорядков отдали в солдаты, в праведном гневе бросил Тарас Петрович на стол господину ректору прошение об отставке. И хотя ректор конечно же по-человечески был и ни при чем (не он же придумал это наказание для вольнодумцев!) и как гражданин сам разделял, так сказать, демократические идеалы коллеги, все же пришлось ему с кротостью и смирением выслушать много колких и угрожающих слов от вольномысленного профессора, прежде чем добиться от него аннулирования прошения.

А тут вдруг – еще событие. В ответ на боголеповские «Временные правила» в феврале тысяча девятьсот первого года студент Карпович застрелил самого министра. Так сказать, осуществил акт мести – исполнил смертный приговор, «вынесенный студенчеством России». И очень просто все получилось. Вошел в присутствие и всадил несколько пуль, отчего министр через пару недель благополучно скончался.

Ах как пожалел тогда Тарас Петрович, что он всего лишь профессор истории, а не выдающийся адвокат (а ведь имел для этого все способности: и красноречие, и умение убеждать, и, главное, передовое, прогрессивное мировоззрение!). Уж он бы этого Карповича так защитил, что вынесли бы того на руках из зала суда (как когда-то Веру Засулич) в лавровом венце и прямым тут же памятником бы на набережной Невы рядом со статуей Петра и водрузили! Да нашлись, слава Богу, защитники не хуже самого Тараса Петровича, тем более что *общество* конечно же опять было на стороне расстрельщика.

Студенчество взволновалось пуще прежнего, и снова митинги, и протесты, и многочасовые стояния у Казанского собора, но власть решила не нагнетать. Карповича судили гражданским судом, но, увы, несмотря на старания адвоката (перед нами-де не простой убийца, но человек идеи), присудили бедному студенту высшую меру – двадцать лет каторги. Правда, через шесть лет при определении на поселение «идейный человек» благополучно сбежал, и не куда-нибудь, а прямо в Петербург, примкнул к боевикам-эсерам, к самому Азефу, и даже принял участие в покушении на царя. Но этого Тарас Петрович заранее конечно же никак не мог знать, а потому двадцать лет присужденной каторги (да что же это творится в самом-то деле, люди добрые?!) вдохновили его в очередной раз на лекции в пух и прах разгромить опостылевший всем передовым, мыслящим людям царский режим, за что студенты и принялись его усердно качать. И, несмотря на некоторую тучность Тараса Петровича, качали довольно успешно и продолжительно.

«Наш Громило!» – говорили о нем студенты почти с нежностью. (Фамилия у Тараса Петровича была хохляцкая: Горомило.)

А власть после проведенной экзекуции решила идти на замирение и назначила министром просвещения нового, мягкого, как бы прощая недозрелую молодость: мол, кто старое помянет... и давайте же наконец жить дружно! И что же? Ровно в эти же дни стреляли (не попали! ах, жаль!) в Победоносцева, а через год еще одна студенческая пуля сразила насмерть министра внутренних дел Сипягина.

Правительство вконец перепугалось и, как заяц, стало трусливо петлять и запутываться в собственных направлениях. Что же делать? Послаблять? Или, напротив, ужесточать? И так получалось плохо, и эдак не годилось совсем. Где же выход?

– Самоликвидироваться, – гудело *общество*.

– Долой самодержавие! – вторила бескомпромиссная молодежная толпа.

– Конституция! – безапелляционно заявлял за обедом Тарас Петрович.

Елизавета Ивановна не разделяла демократических убеждений мужа, но, как женщина тихая и кроткая, не делала из политических разногласий предмета для пустопорожних споров, довольствуясь потаенной любовью ко всем Рюриковичам.

Маленький Глебушка тем паче не делал никаких различий и безмятежно любил всех. Больше всего он любил по утрам приходить к матушке в спальню и нырять с головой в широкий

рукав ее шелкового, отделанного кружевами халата. Зажмурившись и отгородившись ото всех шелковым барьером, он прижимался губами к маминой руке и блаженно вдыхал ее родной, теплый запах. Пахло молоком, духами и еще чем-то таким непередаваемо вкусно-волшебным, от чего у него начинало щекотать в носу и глаза наполнялись слезами.

– Ну будет, Глебушка, будет, – ласково говорила Елизавета Ивановна. – Вылезай.

Глебушка высовывал голову из рукава, и мама прижимала его к груди, и целовала его глазки, и лобик, и щечки, и шептала заветное:

– Рюрикович мой...

На лето вся семья выезжала в Белгородскую губернию, в небольшое имение Елизаветы Ивановны, доставшееся ей в наследство от покойного первого мужа. Густые широколиственные дубравы, извилистая, неглубокая, с песчаными отмелями река, где водились отменные раки и караси, разнотравье пышно цветущих лугов с мирно пасущимися стадами, деревенские мужики и бабы, попадавшие навстречу, почтительно кланяющиеся господам, добродушно-веселые и довольные, – вся эта умиротворяющая картина сытой, спокойной жизни смиряла на время неукротимо-революционный дух Тараса Петровича. Он любил гулять по живописным окрестностям, любил сидеть с удочкой на ранней зорьке, а вдоволь нагулявшись, «намоционившись», как сам говорил, еще больше любил, как и всякий малоросс, хорошо покушать, пропустив стаканчик-другой местной горилки и закусив чем Бог пошлет.

Бог посылал много. Основательная еда требовала основательного послеобеденного отдыха. Дневной зной смаривал и малых, и старых; на два часа жизнь в профессорском доме замирала.

Вечером принимали гостей или сами отправлялись к соседям. У молодых – игры, танцы, забавы, начинающиеся романы, у стариков – милые ворчанья и невинный преферанс. О политике почти не говорили, при таком патриархально-благодушном житии желчь успокаивалась и душа настраивалась на лирический, мирный лад.

Но вот наступал август, близился конец райского отдохновения, и вместе с приближающейся осенью в груди Тараса Петровича снова вскипали революционные страсти. Он возвращался в Киев с новыми силами, готовый по первому кличу вступить в бой с ненавистным режимом.

2

Старший сын Елизаветы Ивановны, Петр, с грехом пополам сдал экзамены за второй курс Петербургского университета и делал вид, что учится уже на третьем. Учиться было совершенно некогда, «одна, но пламенная страсть», отнюдь не к медицине, владела умом и сердцем юного студента: Петр Николаевич в ближайшем будущем мечтал окончательно перейти в профессиональные революционеры.

Разумеется, эта прекрасная сама по себе цель засияла пред ним не сразу. После окончания гимназии он вполне осмысленно пожелал стать земским врачом, чтобы «приносить пользу народу», но, окунувшись с головой в столичную жизнь, наконец понял, в чем состоит эта польза: вовсе не в том, чтобы лечить и учить, как думало передовое студенчество еще лет тридцать тому назад, а чтобы... Да, да, именно так, как дома постоянно проповедовал отчим, – чтобы сбросить ненавистный царский режим, и уж тогда!.. Тогда должно непременно воссиять на земле солнце правды. Только тогда, по мысли народолюбцев, мужик и помещик, рабочий и его хозяин облобызаются и обнимутся навеки!.. Впрочем, если буржуи не захотят все отдать и немедленно облобызаться... «Ужо тебе!..» – повторял он вслед за отчимом классическую угрозу, поскольку в гимназии учился хорошо и тоже читал Пушкина.

Ранним морозным утром пятого февраля тысяча девятьсот пятого года девятнадцатилетний Петр бодро шагал по Загородному проспекту в направлении Николаевского вокзала в превосходном настроении. Он шел встречать с поезда младшего брата Павла, которого он в силу своего просвещенного старшинства и полуторагодового революционного опыта считал своим долгом «развивать».

Несмотря на разницу в возрасте, братья дружили. Павел, в отличие от своего бурнокипящего, «буревестного» брата, имел характер мирный и созерцательный. Он любил читать книги по русской истории, любил уединение, природу и, что самое странное, любил молитву. Молился он втайне, всячески скрывая эту любовь от брата и отчима, зная, что брат к религии равнодушен, а отчим, несмотря на свое происхождение, ревностный атеист. На письменном столе Тараса Петровича на самом видном месте давным-давно поселился бюст фернейского старца, насмешника и вольнодумца, бросившего в мир крылатую фразу «Раздавите гадину!» (имея в виду Церковь), но построившего тем не менее перед смертью часовню с такой умонепостигаемо-горделивой надписью: «Богу от Вольтера». Как видно, равенство Вольтер понимал весьма широко.

Только матушка разделяла Павлушенькину любовь, веру в Бога. И частенько, когда Тарас Петрович уходил на службу, они отправлялись в Киевские Печоры поклониться святым отцам – основателям лавры Антонию и Феодосию и другим удивительным старцам Древней Святой Руси. С упоением читал Павел Киево-Печерский патерик, а житие Марка-гробокопателя приводило его в такое умиление и духовный восторг, что он готов был все бросить и бежать на край самого пустынного света для свершения подвигов.

Павел ехал в Петербург на каникулы повидаться с братом и еще (это уже скрывая от всех) – познакомиться с Блоком (!). Ни одна на свете душа (включая матушку) не знала о его давней и тайной страсти к стихосложению. Вот уже несколько лет он писал метафизические, по его собственному определению, стихи, никому не показывая, страшась постороннего (а вдруг разгромного?) суда и предпочитая мучиться неопределенностью в вопросе о наличии или отсутствии таланта. И только от своего кумира, как от высшего судии, он мог бы безропотно и с благоговением принять страшный приговор: быть ему поэтом или не быть.

Он вез с собой тоненькую тетрадочку старательно переписанных, лучших, по его мнению, стихов, которую он намеревался передать Поэту. Но когда в воображении своем он представлял, как позвонит в дверь и на пороге пред ним предстанет... сам Блок, ему становилось

дурно и страшно. Ноги, и руки, и все внутри начинало дрожать, и он с ужасом понимал, что вряд ли сумеет преодолеть свою робость и отважится переступить порог блоковского дома.

Поезд прибывал рано утром, и Павел боялся, как бы Петр, любивший поспать, не опоздал его встретить. Выйдя из второклассного желтого вагона, он уже десять минут стоял на платформе, ежась от холодного ветра, озираясь по сторонам и выглядывая брата.

– Павел! – замахал красной от мороза рукой (вчера где-то потерял перчатки) Петр.

Они обнялись.

– Здрóрово, что ты наконец приехал! Я тебя давно поджидаю! Как наши?

– Все хорошо, – отвечал, улыбаясь, Павел. – У нас тепло. Мама просила тебя поцеловать. И еще велела спросить, отчего ты им редко пишешь.

– Писать некогда! – отмахнулся Петр. – Тут, брат, не до писем! Сам увидишь. Тут, брат, такие дела делаются! Историю творим! Ты же у нас любитель... читать историю. А мы ее делаем! Превеселое занятие, доложу я тебе! – Он рассмеялся. – А как Тарас Петрович?

– Бунтует, – все еще улыбаясь, сказал Павел. – Поздравил японцев со взятием Порт-Артура...

– Да ну?! Вот это по-нашему! Молодец! Люблю старика!

– Наша гимназия тоже отличилась. Устроили демонстрацию с лозунгами «Да здравствует Япония, долой самодержавие!».

– Отлично! А что полиция?

– Разогнали...

– А ты?

– Нет, я не ходил. Мне даже бойкот хотели объявить.

– Вот это ты напрасно! Сейчас нельзя против народа... И что? Объявили?

– Да нет, сказали, на первый раз прощают.

– Ну ладно, пошли. На извозчика денег нема. Да тут недалеко. Лишний диван имеется. А вечером познакомлю тебя с товарищами! – И он повел брата к себе на квартиру.

Петр снимал комнату на Коломенской вместе с напарником, находившимся как раз в отъезде, отчего и оказался свободным диван. Комната была на седьмом этаже, длинная и узкая, обставленная случайной мебелью, впрочем, довольно чистая. Окно выходило в такой же узкий и темный двор и упиралось в глухую стену противоположного дома; похоже, солнце никогда не заглядывало в этот каменный мешок, напоминавший то ли тюремный двор, то ли гигантский колодец (подобные петербургские дворы так и назывались – колодцами).

Павлу представился их небольшой киевский двухэтажный особнячок, одной побеленной частью выходявший прямо на Андреевский спуск и красивую Андреевскую же церковь, а другой – в старый, с древними каштанами, розами и сиренью сад, где проживало все небольшое семейство Тараса Петровича с кухаркой, горничной и старым дворником Савельичем. Он поневоле вздохнул и печально посмотрел на брата.

– Ерунда! – воскликнул Петр, уловив его смущение от увиденной за окном картины. – Все эти ваши... канарейки – одно мещанство! Пойми, брат, есть высшие цели, которыми живет передовое человечество, и мы обязаны следовать в его фарватере! Скажу тебе по секрету... нет, лучше потом. Сперва ты должен проникнуть в наши идеи! Конечно, в Киеве тоже есть люди, хоть бы и Тарас Петрович, но Петербург, доложу я тебе, это... мозг! Сила! Тут, брат, такие умы собрались! О, мы еще покажем себя!

– Да что же вы хотите такого сделать особенного? – не выдержал Павел.

– Как что?! – закричал Петр. – Революцию!

– Зачем?

– Ну, брат... не ожидал, – обиделся вдруг Петр. – Да ты еще совсем младенец! Тебя еще надо молочком питать, а не твердой пищей! Ничего, я теперь тобой займусь. Ты куда решил

поступать? Поступай к нам. Все, брат, главное произойдет здесь, запомни. Если хочешь на передовой линии...

– Петя, я бы чаю хотел... Есть у тебя чай?

– Вот болван! – хлопнул себя по лбу Петр. – Как это я не подумал! Нет, Паша, чаю у меня нет... а пойдем-ка мы с тобой, брат, к Михалычу! У него там и чай, и всё. А чего дома сидеть? Ты же не чай сюда пить приехал, верно? Я тебя сейчас с лучшими умами... Пошли!

– А кто такой этот Михалыч? – спросил Павел, когда они спускались с лестницы.

– Это, брат, такой выдающийся человек!.. Я тебе только одно скажу, – понизил голос Петр. – Он нелегальный! С каторги бежал!

– А за что же его на каторгу?

– За политику, за что же еще? – снисходительно объяснял Петр. – Все каторжане – политические. Ну есть, конечно, и уголовные... но мало.

Они снова вышли на Коломенскую и пошли по направлению к Лиговскому проспекту. Со всех сторон уже неслись крики мальчишек-газетчиков. Они размахивали свежими номерами петербургских газет и что есть силы вопили на все лады:

– Убийство великого князя Сергея!

– Бывший московский губернатор убит!

– Бомба Каляева разорвала великого князя!

Павел остановился и с тревогой поглядел на брата.

– Дай газету! – подскочил Петр к косоглазому мальчишке и, роясь в карманах, спросил Павла: – У тебя есть мелочь?

Павел заплатил за газету.

– Вот! – ликующе произнес Петр, потрясая газетными листами. – Началось! Это сигнал! Теперь пойдет писать губерния!

– Чему же ты радуешься? – спросил Павел. – Убийству?

– Ты ничего не понимаешь! Царский сатрап! Устроил в девяносто шестом Ходынку! Пять тысяч трупов! Или даже пятнадцать!.. Ничего, ничего, брат... я тоже сперва ничего не понимал. Такой же, как ты, был, болванчик... Пойдем скорее, обрадуем Михалыча, он, поди, еще не читал... Это же надо отметить! – И они, ежась от морозца, быстро зашагали по вычищенным дворниками улицам к дому беглого каторжанина.

Между тем Михалыч уже давно был в курсе и при газетах. Новость с быстротой молнии облетела город, и к беглому каторжанину один за другим стали собираться господа студенты.

Михалыч был профессиональный эсер и потому снимал приличную квартиру. (Партия богателя. После убийства Плеве эсеры сразу возвысились в глазах общества и стали сознавать свою грозную силу. Потекли деньги, состоятельные граждане жертвовали десятки тысяч рублей.) Михалыч занимался пропагандой среди студенческой и рабочей молодежи. Фамилию его никто не знал, знали только, что имя его было тоже не настоящим.

Когда братья вошли, в квартире уже было шумно, накурено и полно народу. Все говорили возбужденно и разом. Михалыч послал за шампанским. Шампанское принесли, тосты следовали один за другим, казалось, празднуется какое-то великое торжество.

– Это мой брат! – представлял Петр робеющего младшего брата то одному, то другому гостю. – Гимназист! Из Киева! Между прочим, там тоже бунтуют! Сегодня приехал и – бац! – сразу на такое событие!.. С корабля на бал! Вот именно!.. Ха-ха-ха... Давайте чокнемся! Все вместе!.. За то, чтобы всех, до последнего Романова! Ура!..

Раздался звонок в дверь, и в переднюю ввалилась еще одна порция гостей. Зазвенели женские голоса. Румяная от мороза и счастливая от полноты буруемых ею чувств, вошла Наденька.

– Господа, я только что из Москвы! – торжественно объявила она.

– Как? Из Москвы? Только что? Расскажите, расскажите! Что? Как? Что говорят? Неужели в самом Кремле? – Ее окружили и стали забрасывать вопросами.

А она, выдержав по-актерски паузу, вдруг обрушила на собрание сумасшедший вопрос:

– Хотите последний московский анекдот?

– Хотим! Хотим! Расскажите!

Она еще раз выдержала паузу и в абсолютной тишине ясно и звонко произнесла:

– Наконец-то великому князю Сергею пришлось пораскинуть мозгами!

Секунду народ осмысливал произнесенную фразу, и вдруг все грохнуло от дошедшего до них смысла. Хохотали до истерики, до слез. Хохотали, глядя друг на друга, и не могли остановиться. Как только смех затихал, кто-нибудь снова повторял удачную фразу, и смех возобновлялся с новой силой. Наконец, утирая глаза и все еще охая и ахая, постепенно успокоились. Тогда Наденька, посерьезнев, заговорила снова:

– Я его знаю. Каляева. Меня с ним знакомили. Хотите послушать его стихи?

– Хотим! Хотим! Читайте!

И Наденька стала с выражением читать:

Христос, Христос! Слепит нас жизни мгла.
Ты нам открыл все небо, ночь рассеяв,
Но храм опять во власти фарисеев.
Мессии нет – иудам нет числа...
Мы жить хотим! Над нами ночь висит.
О, неужель вновь нужно искупление
И только крест нам возвестит спасенье?
Христос! Христос!..
Но все кругом молчит.

Наденька кончила читать в гробовом молчанье и опустила глаза.

– Гениально! – раздался чей-то вздох.

– Неужели его повесят?

– Повесят, еще как повесят! Не сомневайтесь! – В Наденькиных глазах заблестали слезы.

– Надо написать петицию царю о помиловании. От всего студенчества!

– Бесплезно разговаривать с этими сатрапами! Они отвечают только нагайками и шрапнелью!

– Ну что ж, мы тоже умеем говорить на языке бомб и пистолетов!

– Господа! У меня есть знакомый инженер... имя произносить не могу. Он работает над созданием летательного аппарата...

– И что?

– А то, что он собирается спикировать на царский дворец и покончить с тираном!

– Гениально! – раздался тот же голос.

– Господа! – негромко обратился наконец к публике бежавший с каторги съемщик квартиры.

Все прекратили разговоры и обратились в слух.

– Господа! Разрешите еще раз от имени партии социалистов-революционеров поздравить вас... нас всех с большим успехом. Не прошло и нескольких месяцев после того, как был убит один из держиморд нашего правительства министр внутренних дел Плеве. Все знают о его отвратительной, подстрекательной роли в кишиневском погроме... Вся мировая пресса писала об этом очередном постыдном акте царского правительства... Но эти господа давно потеряли стыд, честь и достоинство. Благодаря таким деятелям имя России пощется как грязное белье! Мы, русские патриоты, заявляем решительный протест против... продолжа-

ющегося насилия над народом! Тюрем и каторга переполнены нашими товарищами – борцами за народное счастье! Общество требует свободы политзаключенным! Оно требует отмены смертных приговоров тем, кто является для царя – преступниками, а для всех честных людей – честью и совестью страны! Мы требуем признать право на жизнь священным! Но мы не только требуем и протестуем, мы действуем! И вот – новая акция наших патриотов. Убит еще один враг русского народа – великий князь Сергей! Как и его отец, тиран Александр Второй, прозванный, словно в насмешку, Освободителем, он пал, сраженный гневом народного возмездия. И пусть Дом Романовых знает: каких бы жертв ни стоила нам ликвидация самодержавия, мы твердо верим, что наше поколение покончит с ним навсегда! Мы не удовлетворимся паллиативными мерами по улучшению жизни народа, которые предлагает напуганное всеобщим гневом царское правительство, и мы не остановимся на этом убийстве! Пусть они знают и трепещут!

Его речь покрыли страстные аплодисменты.

– Правильно! Bravo! Русская молодежь поддерживает партию эсеров!

– Я хочу от имени всего студенчества заявить, что партия может рассчитывать на нас... мы не пощадим жизни... да, господа! Ради торжества правды и справедливости... мы готовы... на все! Всех не перевешают, господа!... – выкрикнул срывающимся голосом совсем юный очкарик.

– Господа!.. Я бы хотел... Тише, господа! Дайте сказать... – пытался перекрычать товарищей Петр. – Вот тут некоторые, не буду называть по имени, пытаются трактовать террор как простое убийство...

– Как можно? Назовите фамилии, кто это? Это провокация! Позор! Предательство! – раздались возмущенные голоса.

– Господа, я бы хотел внести ясность, – спокойно проговорил Михалыч и обвел глазами всех присутствующих желторотых юнцов. – Да, мы осуждаем террор как тактическую систему, но! – подчеркиваю это – в ци-ви-ли-зо-ванных странах! В России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной самодержавной власти Романовых и ее последнего представителя царя-дегенерата Николая, мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права!

Его слова потонули в одобренных возгласах и аплодисментах.

– Цель наших боевых акций, – продолжал Михалыч, – это не самозащита и не только устрашение, мы хотим довести власть до осознания абсолютной невозможности управлять страной при сохранении существующего строя, до ее полной дезорганизации и хаоса! Как говорил наш герой Ян Каляев: «Я верю в террор больше, чем во все парламенты мира!»

– Ура Каляеву! – восторженно закричали студенты. – Свободу Ивану Каляеву! Свободу всем политзаключенным! Да здравствует свободная Россия!..

Праздник продолжался до самого вечера. Произносились речи. Радовались убийству тирана. Восхищались благородством народных мстителей. Клялись в борьбе до победы. Наконец, рассовав за пазухи данные Михалычем прокламации, стали расходиться.

– Надежда Ивановна, – обратился Михалыч к Наденьке, – останьтесь на минуту.

Наденька вспыхнула, и даже мочки ушей у нее покраснели. Она с готовностью сбросила шубку и вернулась в обезлюдевшую, сизую от табачного дыма комнату. Открыла форточку и стала жадно вдыхать свежий, колючий воздух. Сердце ее громко стучало, заглушая звуки уходящих и прощавшихся с Михалычем гостей.

Наконец ушли последние. Кажется, это были Петр с братом. Натан Григорьевич (он же Михалыч) закрыл дверь и вернулся в комнату.

Наденька бросилась ему на шею.

– Ну полно, полно... ты меня задушишь, – шутливо оборонялся Натан Григорьевич.

– Как я соскучилась, Натан!.. Я чуть не умерла! – И Наденька еще теснее прильнула к Натану Григорьевичу.

– Ну, довольно... отпусти меня, девочка... Слышишь? Нам нужно серьезно поговорить.

Наденька вздохнула и с трудом отлепила свою хорошенькую головку от груди обожаемого учителя.

– Ну а теперь расскажи мне все по порядку, – попросил Натан Григорьевич, усаживая ее на диван и сам садясь напротив нее.

– Все слава Богу. Ты же читал в газетах...

– Как Янек?

– Он... последние дни был не в себе... Из-за этой истории с Елизаветой Федоровной. Понимаешь, уже все было готово, но в карете великий князь оказался не один, а с женой и детьми князя Павла... И Янек говорил, что не смог... из-за детей... что приговор касался только великого князя... и что если теперь ему опять не удастся, он сделает себе харакири.

– Что за чушь!

– Понимаешь, он был в таком... невероятно возвышенном состоянии духа!.. Это невозможно описать. Он все повторял, как он всех любит! Как он счастлив, как он любит весь мир! И что мы непременно победим! И какая будет светлая, прекрасная жизнь!.. Что революция дала ему ни с чем не сравнимое счастье, что ему совсем не жаль принести себя в жертву, что он успокоится, только когда князь Сергей будет убит...

– Ты видела сама, как все произошло?

– Нет... Я пришла уже после... всего. Янека уже увели, а на месте взрыва оказалась только маленькая кучка из останков князя и... всего остального... вершков десять. Князя разорвало буквально на мелкие кусочки... Елизавета Федоровна была как помешанная... Выбежала из дворца и стала, что-то приговаривая, собирать останки князя в платок... Ей помогали... Кто-то принес палец с обручальным кольцом... а сердце, говорят, потом нашли на крыше какого-то здания... Потом сложили все немногое, что от него осталось, на носилки, накрыли шинелью и отнесли в Чудов монастырь... Потом я ушла.

– Ну и отлично, – спокойно сказал Натан Григорьевич. – Я утром уезжаю, Надя. За границу. Начнутся аресты. Надо переждать.

– А я? – вскрикнула Наденька.

– Ты останешься здесь, – спокойно произнес Натан Григорьевич.

– Я не хочу. Я хочу с тобой! Возьми меня с собой, Натан!

– Девочка моя, существует революционная дисциплина, и ни ты, ни я не имеем права ее нарушать.

– Я в положении, Натан, – опустив голову, тихо произнесла Наденька.

– У-у! Милая!.. Что ж ты так неосторожна?.. – Он взял ее за подбородок и приподнял кверху смущенное лицо. – И что? Уже ничего нельзя сделать? – Он смотрел ласково и немного насмешливо.

Наденька покачала головой.

– Тогда тем более, дорогая, тебе нужно оставаться здесь. Ну куда тебе за границу с ребенком?

– А как же Файнберги? Оба профессиональные революционеры и... с ребенком.

– Наденька, когда ты со мной сходилась, я тебе сразу все объяснил. Ни жены, ни детей у меня не может быть никогда. И, кажется, ты не возражала, – добавил он с улыбкой.

Наденька ничего не ответила, она сидела по-прежнему в уголке дивана, отвернувшись от Натана Григорьевича, и тихонько плакала.

– Перестань. Я не люблю женских истерик. Родишь ребенка, отдашь на воспитание... Потом... будет видно, что потом. Денег я тебе пришлю. Да и папаша, я думаю, не бросит падшую дочь с внуком. Или с внучкой... – сказал он, как всегда насмешливо улыбаясь.

- Можно мне остаться сегодня с тобой? – робко, сквозь слезы спросила Наденька.
- Нет, милая. Рано утром за мной придут. Давай простимся сейчас.
- Натан! – умоляюще прошептала Наденька. – Ну на часик... в последний раз... Бог знает, когда мы теперь снова... Я тебя так люблю!..

3

Выйдя от Михалыча, молодежь еще долго не желала расходиться по домам. Завивалась февральская метель. Шли малыми группами по улицам, пряча детские, еще безусые лица в поднятые кверху воротники студенческих шинелей, а возбуждение бурного дня все никак не утишалось. Решили отправиться в трактир и там продолжить сладостные речи о переустройстве отсталой России на новых, демократических началах, как во всем цивилизованном мире. Жажда коренных перемен кружила молодые головы, и хотелось осуществлять эти перемены немедленно, да хоть бы и с сегодняшнего вечера. А начать хотя бы и с того, чтобы сей же час вступить в боевую организацию (а то и самим создать!) и устроить покушение на... да хоть бы и на самого государя! (Вот это была бы бомба!) А что? Не боги горшки обжигают! Вон Ян Каляев – тоже бывший студент и не намного их старше, а давно уже участвует в борьбе! Учиться? Это всегда успеется! Пусть учатся дураки, а для умных людей самое главное теперь – революция, ее ведь можно и проморгать, она ведь, если вовремя не сориентироваться, может обойтись и без них! И как же это допустить?

Около двенадцати ночи разгоряченные напитками и речами молодые люди покинули трактир, договорившись встретиться на другой день, чтобы уж окончательно определиться с тактикой и стратегией, поскольку мочи больше нет терпеть вековой произвол. Жандармская Россия должна стать свободной! А свобода, как известно, покупается не разговорами, а кровью. Свобода завоевывается с оружием в руках. Ни просить (унижаться!), ни даже требовать у царя мы не собираемся. Сбросить его с престола и покончить со всей самодержавной шайкой, а там... новая земля и новое небо в алмазах, царство небесное на земле! За это не жалко и кровь пролить. Чужую. Да хоть бы и свою! И свою нисколько не жалко! Снова и снова вспоминали Каляева, и надевали ему на голову венцы, и ставили ему от имени будущей свободной и благодарной России памятники.

После жарко натопленного помещения и еще более жарких речей Петр шел по городу в шинели нараспашку, русые, давно не стриженные волосы выбивались из-под фуражки, а душа его была переполнена любовью к человечеству. Распростившись наконец с такими же, как и он, восторженными товарищами, он вдруг обратился к своему утомившемуся до смерти за весь этот сумасшедший день брату:

– А хороша эта Наденька чертовски!.. Глазища – во! С блюда! А как захочет – не оторвешься! Так бы и съел всю!.. Как она тебе?

От неожиданности Павел замаялся, не зная, что отвечать брату. Он вовсе не думал ни о Наденьке, ни о свержении монархии в России, а думал только о том, что, пожалуй, зря он приехал в Петербург и лучше бы ему сейчас сидеть в своей чистенькой и светлой комнатке, в особнячке на Андреевском спуске, и слушать, как тикают часы в прихожей, отбивая чуждым боем каждые полчаса, да читать Ключевского, а на рассвете пойти к заутрене, и встретиться с отцом Иоанном, и поговорить с ним о патриархе Никоне и о церковном расколе, о котором у Павла никак не складывается одного мнения: то ему кажется, что прав патриарх Никон, то – протопоп Аввакум...

– Ты что, брат, язык отморозил, молчишь?.. Да... только Наденька эта... Пожалуй, что у нее роман. С Михалычем. А жаль!.. Я бы на такой женился. А что? Ты не смотри, брат, что я молод... Ну да, молод. Независимости материальной нет. Матушка не благословит. Да ведь у нее папаша богатый. И, говорят, революционерам помогает... Нет, брат, у меня такое сейчас вот тут, – он показал на грудь, – жжение!.. Надо что-то начать делать, понимаешь? Срочно! Пока огонь в груди!.. Прокламации – что!.. Тут прокламациями не удовлетворишься!.. Слушай! – Его вдруг осенило, он даже приостановился. – А поехали-ка мы сейчас в заведение!.. К Катеньке!..

– Это куда? – наивно спросил Павел.

– А что? В самый сейчас раз! Ах какая девушка Катенька! Глаза – черная ночь! А зубы, брат!.. Мечта, а не зубы!.. Да и вся... А? Денег только... У тебя деньги есть?

– У меня... немного... – сказал, запинаясь, Павел, помня матушкин завет не тратить денег попусту, а только на необходимое.

– Что ж ты мне, брат, денег совсем не привез?.. – укорил брата Петр. – Я тут поиздержался... – Он хотел было сказать: на революцию, но постеснялся такой преждевременности, поскольку истратил совсем на другое. Самому же просить у матушки было стыдно. – Да она не так чтобы и дорого... рублик всего. А?..

В темноте не было видно, как покраснел Павел. Он готов был провалиться сквозь землю, не зная, что отвечать брату на его несколько не стеснительное, бесстыдное предложение. Но брат уже понял его затруднение и засмеялся.

– А ты что, еще ни разу? Ни с кем? Ну, брат! Пора уже начинать мужскую жизнь. Нет, я теперь тебя даже и не отпущу так. Вот нарочно поедем. Я вот, знаешь, когда в первый-то раз? Хочешь, расскажу?

– Да... нет, – устыжался Павел. – Не надо.

– Ну так что? Поехали? Рубль всего... Дешевле нельзя. Да тут недалеко... Эй, извозчик! На Сенную!..

Извозчик привез их в недорогой, знакомый Петру публичный дом.

Увы, Катенька оказалась занята, и – как неудачно! – на всю ночь.

Петр потребовал другую девушку, только непременно чтоб «посвежее». Им привели двух, по виду вовсе не свежих крестьянских девиц, но отступать было нельзя. Петру ужасно хотелось, чтобы брат непременно сей же ночью стал мужчиной. Ибо революционер не может оставаться девственником, да и вообще... это не здорово.

– Физиология! – шептал он брату. – Против природы никак нельзя. Потом сам мне спасибо скажешь. А если влюбишься? Как ты потом с ней сладишь? Опыт, брат, великое дело!.. Ну, которая тебе больше нравится? – великодушно уступал брату Петр.

Бедному Павлу, попавшему как кур во щи, не только никакая не нравилась, он с ужасом и содроганием смотрел на обеих и не понимал, зачем он здесь, что за экзекуцию хотят с ним провести и зачем. И как он будет давать ответ отцу Иоанну, у которого он исповедуется уже четыре года.

Затянувшиеся сомнения разрешил Петр.

– Вот эту – ему, – указал он на ту, что посимпатичнее. – А эту я беру. Как тебя зовут, милая?..

Нет, ни за что на свете не признался бы Петр младшему брату, что, несмотря на всю свою столичную высокоумную «прогрессивность», он сам все еще оставался девственником, а в заведение ходил исключительно для пропаганды революционных идей, чтобы и в падших душах пробудить жажду протеста против ужасных несправедливостей жизни и конечно же ненавистного, во всем виноватого царя, из-за которого они и должны теперь погибать во цвете лет.

Увы, бедный Петр не догадывался, каким злым насмешкам подвергают его героические увещевания все служители и служительницы древнейшей профессии, начиная от швейцара и заканчивая хозяйкой-мадам. Однако, что касается «мадемуазелей», девушки наперебой старались заполучить Петра, чтобы под звуки его убаюкивающих, назидательных песнопений вздремнуть часок, получив даровое отдохновение от своих трудов несправедливых. Более всех везло черноглазой Екатерине, почему-то именно эту девицу избрал Петр для своего пламенного словоговора. Девушке льстило внимание прекрасного студента, и она томно делала вид, что еще чуть-чуть – и окончательно разорвет цепи рабства для вступления в новую, светлую и такую же героическую, как у студента, жизнь. А Петр, вдохновленный ее поощритель-

ными улыбками, горделиво считал себя едва ли не спасителем заблудших, и потому переходить к другим, более соответствующим этому заведению отношениям робел и даже считал кощунственным. Пусть другие, да вот хоть бы и его недалекий младший брат, живут, как все, маленькими грешками и страстишками, у них, избранных, соли земли Русской, настоящих героических аскетов, другая стезя – быть провозвестниками грядущего царства Свободы, ради которой он готов... готов... как Каляев... Тут он зажмурился и, представляя скользкую, намыленную веревку на шее, вздрагивал, и непрошеные слезы жалости к своей загубленной молодой жизни вскипали в его голубых, как у мамочки, глазах.

4

Биография нижегородского миллионщика-купца Ивана Афанасьевича Перевозщикова была типичной. Дед – из волжских старообрядцев-крестьян – выкупился еще в сороковые годы прошлого, девятнадцатого века, промышлял щепным товаром, отвозил его вниз по Волге в Царицын и Астрахань. Отец стал владельцем буксира, после создал свой корабль с железным корпусом и паровой машиной, а под конец жизни выстроил у села Борки, что напротив Нижнего, завод по изготовлению теплоходов. Сам Иван Афанасьевич, получив университетский диплом, успешно приумножал отцовские капиталы; были у него десятки пароходов, склады, причалы, заводы, сотни десятин леса, целые селения.

Дела вел толково, с большими прибылями, привлекая двух старших сыновей к ответственному неленивому труду. Было их у Ивана Афанасьевича от двух браков восемь. Да пять дочерей. Первая жена умерла третьими родами. Долго не женился после того Иван Афанасьевич, любя и вспоминая покойницу. Наконец, после десятилетнего почти вдовства, женился на совсем почти девочке – дочери самарского купца-старообрядца Варваре. Вторая жена оказалась не хуже первой: души в ней не чаял Иван Афанасьевич. И пошли один за другим детки: крепкие, здоровые, краснощекые, – двоих только и схоронили за все годы.

Как и многие нижегородские богатеи (да большинство!), любил Иван Афанасьевич, памятуя Евангелие, благотворить, да так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Хотя как укрыться? Выстроил единоверческий храм, ночлежку для бездомных, дом призрения для вдов и сирот, две школы, больницу... да всего и не перечислишь. Всё на виду, все знают. А гордости ни-ни, страха ради Господня. Помнит Иван Афанасьевич крепко, от отца еще, от столетнего почти деда: не гордиться делами рук своих, ибо все доброе в нас – от Бога.

Вот и Горькому Иван Афанасьевич дает деньги. И многие ему дают. Как же не дать? Свой. Из самых низов. Нижегородский. А уже российская знаменитость!

В начале двадцатого века взошла звезда Алексея Максимовича. Встала высоко, горела ярко и своим сиянием чуть не заслонила все другие, даже и великие, звезды.

Горький привел в литературу новых героев. О ком писали прежние литераторы? Все больше баре да крестьяне. Из всей тысячелетней многословной работной России только и нашел писатель двух достойных представителей: босяка да еще рабочего с прокламацией.

Ну ладно. Нравится тебе писать о босяцких, ничтожных людях – пиши. Не нравилось Ивану Афанасьевичу только то, что у нового великого писателя если купец, то непременно хищник и кровопийца, если хозяин, то дебошир и пьяница, если образованный, то ничтожество и недоумок, если барин... о барах Горький даже и перо марать не хочет, разве что барин из бывших, вроде Барона.

А общество весь этот подлог принялось жадно, захлеб читать. А прочтя, поверило и умилилось. Вот они, новые люди, вызванные пером писателя со дна жизни, спасители России, ночлежники и поджигатели! «Разумеется, и они тоже, тоже, конечно, люди, образ и подобие, но почему же только *они* и есть люди? – недоумевал Иван Афанасьевич. – Почему же я – кровопийца, а вор Челкаш и – прости, Господи, – Мальва – они лучшие представители России? М-да...»

Пробовал было Иван Афанасьевич высказать автору свои недоумения. Мол, как же это вы, Алексей Максимович, понятие личного греха, что ли, совсем упраздняете? Так он такого в ответ нагородил: что верить надо в человека, в его разум, а лучше всего в коллективный разум, а для этого весь социальный строй перелопатить, и чем быстрее, тем лучше, ибо уже гроза на дворе и буревестник на подлете! Понял Иван Афанасьевич – разговаривать бесполезно, путанные люди. И сколько теперь таких путаников! И что они, эти путаники, запутают этак всю доверчивую Россию!..

Только вздыхал. А деньги все-таки давал. Тоже ведь и Горький по-своему благотворит, пускай. Революция?.. Да что они могут, эти бомбисты, неужели одолеют тысячелетнее царство, неужто за ними пойдет народ? Смешно!

А, видно, столичные господа все ж таки поверили Горькому о босяках и ночлежниках – выдвинули в академики. (Даром что революционер и по пяти тысяч в год на ленинскую «Искру» из своих доходов дает, так Саввушка Морозов и по двадцать четыре дает!)

Но вышел конфуз – царь высказался иронически и осмелился отказать. Общественность встала на дыбы. Как посмел? Да кто ты такой? В знак протеста отказались от звания почетных академиков Чехов и Короленко. Стасов, выдвигавший Горького, перестал посещать заседания Академии, а академик-математик Марков требовал отменить решение царя!

Больно уж знаменит стал кумир студенчества и всей передовой общественности, русской и иностранной, Алексей Максимович Горький, так знаменит, что вот и открыто проповедует: долой самодержавие! И не смеет царская охранка против него ничего сотворить. Как поднимется буря протеста аж от самой Испании до балтийских берегов и волжских разливов, так двери тюрем сами собой перед ним расступаются и выходит гордый Алексей Максимович, живой и невредимый, для дальнейшей борьбы. Да что Испания! Когда Горького посмели арестовать, все европейские знаменитости подняли свой голос в защиту писателя с требованием немедленно выпустить из тюрьмы. Что оставалось делать несчастному царскому правительству? Выпустили, испугались. Иди с миром, Алексей Максимович, продолжай свою борьбу не на жизнь, а на смерть против нас, супостатов, разве ж мы устоим против общественного мнения Европы? Да и своего тоже. И свое больно злобствует и язвит так, что и руки подчас опускаются защищать то, что общество требует уничтожить!

Да вот и с Саввой Морозовым (хоть и сильно нравился ему крепкий, умный, татарского вида русак) много спорил, не соглашался Иван Афанасьевич. Была у них, старообрядцев, обида на Романовых и на всю Церковь Никонову, застарелая обида, горькая. За гонения боле чем двухсотлетние, разорения жестокие да за клятвы церковные. Клятвы-то, оно, конечно, яростно с обеих сторон возносились, а расправы творились только царскими слугами, безо всякой пощады лилась кровь древлеправославная никонианами-«еретиками». И как ни распыляли их, по каким углам ни расшвыривали, а выжили, и веру сохранили, и нравственность соблюли, и работники на славу. Весь капитал почти российский у них, старообрядцев, ими Россия движется, их умом, их сметкой, их хваткой, их силой. Вытесняли они из экономики и немцев, и армян, и даже самих евреев.

Но как ни затаивалась подспудно обида на власть, а всею шкурой чувствовал Иван Афанасьевич – нельзя России без царя быть. Не разделял он Саввиных воззрений: путь европеизации лежит, мол, только через уничтожение монархии. Видел Иван Афанасьевич, как многие и из их среды хотели прорваться во власть. Экономическая сила новорожденной буржуазии все более вождела власти политической. Историческая монархия для многих казалась отжившей, тормозом на пути прогресса. Как ни умен и даже ни блестящ был Савва, а – замечал Иван Афанасьевич – слишком горд и нетерпелив. Знал он и по своему опыту, что нетерпением много можно сотворить глупых дел, после не разгребешь. И это в своем частном деле, а тут – вся громада российская! И что же, вот так, в одночасье, долой царя? И что потом? Они думают, что верховная власть – это дорогая игрушка и любой болтун может ее захватить и присвоить иль миллионщик – купить и поиграть. А помазание-то Божие на что? Или и веры уже не стало ни в помазание, ни в Самого Бога?

Помнил Иван Афанасьевич, как злобно радовался Савва девятому января. Теперь, мол, революция обеспечена! Годы пропаганды не дали то, что достигнуто в один день! А что достигнуто? Сотня убитых да три сотни раненых. Да, говорят, первыми стали стрелять в солдат провокаторы из толпы. Вон прачки Авдотьи сын писал: не было у них приказа стрелять, уговаривало начальство народ мирно разойтись, а как поперла на них многотысячная толпа, готовая

смести редкие солдатские цепи, да стали палить в них из пистолетов, солдаты и дрогнули – дали по толпе залп. Ох, прости, Господи! Своих ведь!.. А Горький потом в газетах, как всегда пафосно, распалялся о тысячах зверски убитых, и, конечно, все верили и с возмущением повторяли.

Падал престиж царя, за один этот день так упал, как и за всю позорную Японскую так не падал. (А может, этого и добивались отступники? Где теперь этот несчастный поп-проводник Гапон и его сподвижник или наставник, как его... Рутенберг?) Не было на Руси такого ужаса, чтоб в безоружную толпу палить, в своих, русских, с хоругвями!.. А с другой стороны посмотреть – как же безоружную, ежели из этой толпы по солдатам стреляли? И как же это царю к ним выходить, когда неизвестно, кто в этой толпе среди народа скрывается, – ведь и его могли б подстрелить, скольких уже бомбами своими проклятыми разорвали! Вот ведь дали же незадолго до девятого января во время салюта по царю залп от Биржи из настоящей картечи, когда на Крещение крестным ходом к Неве спускались на иордань. Городового ранило, пулями стекла в нижнем этаже Зимнего повыбивало, чудом уцелел царь... Да-а, тяжела ты, шапка Мономаха, жалко Ивану Афанасьевичу царя. Ну и настало на Руси времечко: народ в царя стреляет... Да ведь не народ! Не народ это!.. А кто? Савва, Горький, Гапон, студенты... этот, Рутенберг, кто они? Они – народ? Они – за народ?.. Не разберешь. Ох, прав Савва, много достигнуто за один этот день. Одно прозвище царю – Кровавый, данное еще в тысяча восемьсот девяносто шестом, после Ходынки, с тех пор стало гулять по Руси, чего сто́ит!

Тут они сошлись, на почве революции, Савва и Горький. Сошлись близко, так близко, что пришлось Савве свою любимую актрису Горькому уступить. Ну это, конечно, не его, Ивана Афанасьевича, дело, так только, к слову пришлось... У него у самого с дочерью беда.

Захотела Надежда Ивановна на Высшие медицинские курсы в Петербург – отпустил. Что ж, время такое, что и женщинам образование подавай, пусть едет. А тут вдруг явилась домой. Брюхатая. Мать – чуть с ума не сошла. У них, старообрядцев, с этим строго. А тут... Скорбно стало Ивану Афанасьевичу и супруге его. Не о такой судьбе мечтали они для своей любимицы, да что делать? Хотел было по старой памяти поучить, да вовремя одумался. Дал денег да отправил назад в Петербург, пусть там рожает, подальше от знакомых людских пересудных глаз, а после, пожалуй, хоть и пришлет дитя, кто там у нее родится... усыновим. Варваре-то самой еще сорока годков нет. Там видно будет. Да вот и еще одна заботушка – надо теперь порченой девке срочно жениха искать!..

5

Мамочка Елизавета Ивановна была страшно удивлена, когда милый Павленька вернулся домой через три дня (собирался к брату на полторы недели!).

Что, как, почему? – беспокойно заглядывала она в прячущиеся глаза сына.

Нипочему. А просто... он болен.

«Как болен? Боже мой, да что же случилось? Чем же он болен? Да ведь надо врача!» – переполошилась Елизавета Ивановна.

Как ни отнекивался Павел, как ни убеждал мамочку, что ничего страшного, все само пройдет, Елизавета Ивановна вызвала-таки домашнего доктора. Осмотрев Павла и не найдя никаких признаков болезни, Федор Васильевич развел руками и прописал успокоительное.

– Возраст, знаете ли, уважаемая Елизавета Ивановна... романический... Пройдет, – уверял он Елизавету Ивановну. – Вы уж оставьте пока молодого человека в покое... Все пройдет, перемелется, – повторил доктор, принимая вознаграждение.

«Да что же перемелется? Чему же надо молотиться? – по-прежнему недоумевала, теряясь в догадках, Елизавета Ивановна, однако по совету доктора не стала приставать к сыну с расспросами, а только вздыхала и тревожно вглядывалась в его лицо. – Уж не влюбился ли он там... в этом Петербурге? Кажется, доктор на то и намекал... Да когда же успел, за два-то неполных дня? Ох, малые детки – малые бедки...»

Получив вольную от расспросов, Павел все дни проводил теперь в своей светлой, уютной комнатке, стараясь не думать о том, что произошло в Петербурге. Он подолгу сидел у окна, выходящего в сад, и смотрел, как слепящее солнце выпаривает последние островки почерневшего снега, как звонко и радостно чирикают в луже воробьи, кап-кап, кап-кап – капают с крыши капельки под его окном, накапливая тоненькую ниточку ручейка с обнажившимися из-под снега маленькими голыми камушками. Вон старый их дворник Савельич вышел в сад обрезать деревья, вон заслуженный кот Мурзик, с разорванным в боевых драках ухом, пригнув спину, крадется к стайке воркующих голубей...

Бом!.. Бом!.. – раздается вдруг густой бас колокола Андреевской церкви, что чуть наискосок, вверх от их дома. И дверь его комнатки растворяется – на пороге мамочка с Глебушкой. Одетые. Солнечные зайчики пляшут на мамочкиной шляпке и на Глебушкином картузе.

– Павленька, мы ко всеобщей, пойдем с нами.

Но Павленька не пойдет, Павленьке все еще нездоровится, Павленьке больно и подумать теперь о церкви, такой он великий грешник. И мамочка только вздыхает, и закрывает дверь, и крестит его за закрытой дверью.

Нет, в церковь он больше не пойдет. А... что же? А как же он теперь будет жить?

И как это у брата Петра все так легко получается и совмещается – и революция, и университет, и любовь к Наденьке, и посещение этих... ужасных заведений?

И он снова стал мучительно перебирать в памяти свой позор.

– Как тебя зовут, маленький? – спросила его та... как ее назвать... – *девка*? – когда его, ни жива ни мертва, затащили в комнату, где стояли одна большая кровать да маленький столик и пара стульев.

– Ну чего дичишься? Дичок. Братец твой шепнул: впервой ты. Правда, что ли? Дак это ничего, что впервой. Небось понравится. Сам будешь апосля к нам ходить. Как твой братец. Ну иди, поласкаю я тебя, маленького. Как маменька тебя ласкала. – И она стала расстегивать кофточку на груди.

Павел как сел на стул, так и приклеился намертво, не отодрать. И голос пропал. И хотел бы что сказать – язык не шевелится. С ужасом смотрел он на вывалившиеся большие груди

рассевшейся на кровати как ни в чем не бывало здоровенной крестьянской девки, безо всякого стеснения задравшей ногу на постель и стягивавшей теперь чулок.

– Тебя Павлом зовут, знаю. А меня Настеной. Ну иди ко мне, дичок. Дичок – молодой бычок. – Она засмеялась. – Не бойся, чай, не съем я тебя. – Она уже улеглась на кровать, совсем голая, чуть прикрыв *это* место одеялом.

Как загипнотизированный смотрел Павел на покойно раскинувшееся, пышное, как взбитое масло, тело Настены, на ее толстые ляжки, большой белый живот, округлые груди с маленькими розовыми сосками – и не мог сдвинуться с места.

– Ну иди, что ль, поближе, поговорим... – лениво проговорила Настена. – Вот глупый. Деньги заплатил и сидишь. Мне – что? – Она сладко, во весь рот зевнула, прикрыла ладонью глаза и вдруг захрапела.

Павел вздрогнул. Настена заснула так внезапно и так, по-видимому, всерьез, что он, и без того сидевший статуей, совсем перестал дышать, боясь спугнуть ее сон, боясь, что она так же неожиданно проснется и опять начнется попытка *блудным* искушением.

Через час Настена заворочалась, стала натягивать (должно быть, замерзла) одеяло, потерла глаза. Увидев все так же безмолвно сидевшего на стуле Павла, она охнула и, привстав на постели, испуганно воскликнула:

– Ой матушки мои! Да что ж ты все так сиротинушкой и сидишь, миленький! – Она проворно вскочила с кровати и, бросившись к Павлу, затормошила. – Давай, миленький, скорей! Что ж ты... У меня ты, чай, не один...

Но Павел – откуда только прыть взялась! – взвился как ужаленный и, оттолкнув Настену, опрометью бросился вон.

Всю оставшуюся ночь он проходил по чужому, замерзшему, вымершему ночному городу, не разбирая улиц, шел и шел, куда вели глаза и ноги. Молчаливо и мрачно нависали над ним громады домов, и они казались такими же вымершими и пустыми, как улицы. Нигде ни огонька, ни свечечки в окнах. Жутко. А мороз пробирается под новенькую гимназическую шинель, горят уши, горят щеки, пальцы на руках и ногах немеют и болят от холода. Да ведь так можно и окоченеть! Побежал. Короткими перебежками с передышками добежал до показавшегося ему знакомым вокзала. Да это же тот самый, Николаевский, на который он сегодня утром... неужели сегодня? нет, уже вчера... приехал из Киева.

Здесь же, у вокзала, бросился к дремавшему в санях извозчику, сказал адрес. Через десять минут сонный дворник уже отворял ему ворота. Медленно поднялся Павел на шестой этаж, долго звонил и стучал в квартиру брата. Наконец Петр услышал и открыл дверь.

– Ты куда пропал? Отчего меня не дождал? Я уж Настену твою отругал, что она тебя *так* отпустила, дура-баба! – накинулся на брата Петр. – О-о! Да ты, я вижу, совсем заледенел... нос-то не отморозил?! Давай-ка сюда, к печке, грейся.

Павел в изнеможении припал к теплomu кафелю.

Петр еще долго о чем-то говорил, ругал Настену, самого Павла, петербургские морозы, но младший брат уже ничего не слышал, его страшно клонило в сон, он бы тут же, у печки, сейчас и упал и заснул, но Петр помог ему добраться до дивана и раздеться. Укрыл поверх одеяла полушубком и сам снова завалился досыпать в постель.

Встали братья далеко за полдень.

Петр, как ни в чем не бывало, в благодушнейшем настроении снова стал зазывать брата на очередное студенческое бдение, но потрясенный вчерашними похождениями Павел сказал, что устал и хочет вернуться домой. Петр был страшно изумлен и раздосадован. Он долго уговаривал брата остаться и даже стыдил и возмущался такой его нечувствительностью «к пульсу истории», но Павел оказался на сей раз к пресловутому «пульсу» абсолютно равнодушен и на все уговоры отзывался непреклонным молчанием.

Вечером пришлось вконец разобиженному Петру проводить несговорчивого брата на вокзал.

Тетрадошка со стихами так и осталась лежать в сумке сиротой.

Павел считал себя теперь навек опозоренным и недостойным общения не только с отцом Иоанном, но и с великим Поэтом.

Между тем отец Иоанн, обеспокоенный долгим отсутствием духовного своего чада, прислал записочку:

«Чадое мое дорогое! Слыхал я, Павлуша, от твоей матушки, что ты занемог. Молюсь за тебя, чадое. А и сам я лежу в немощи. Как поправишься, приходи, милый.

Твой молитвенник, многогрешный архимандрит Иоанн».

Ожгла сердце эта записочка. Батюшка родненький болен! А как прийти? Как взглянет он, скверный и нечистый, в праведные святые очи отца Иоанна? Нет, он погиб. Погиб безвозвратно. И... пускай!

А мартовское солнце так нестерпимо сияло, и синело, синело небо, словно звало его в свою ясную, небесную синь, и звенела капель, и ворковали голуби, и плескались в луже воробы, и гаркали, свивая гнезда, вороны, и все радовалось жизни! И Павлу хотелось радоваться. Выскочить бы сейчас на улицу, помчаться по кривому, мощеному спуску вниз, вниз к Подолу, где лепятся в разбросанном беспорядке дома-домики в палисадничках-садах и стоят себе вековые, милые, излюбленные церквушки!.. Но он никуда не выходит, сидит в своей комнатке, как в тюрьме, ни с кем – ни слова. И мамочка плачет, а отчим Тарас Петрович хмурится: что это за «болезни» такие пошли? Глупость одна, всыпать бы розог! Да ведь с его убеждениями – какие розги! Недемократично!..

Не выдержала матушка.

– Что ж ты, Павленька, к отцу Иоанну не идешь? Ведь плох батюшка. Все тебя ждет-вспоминает!

О-о! Как ноги-то заплетаются, не идут!

По-ше-ел... Вот мука-то! Вот она какова, тягость греховная! Идет Павленька, словно сто пудов на себе волочет.

Постучал в келейку. А уж старец руки распростер:

– Свет ясный, Павлуша!..

А Павел бухнулся, пряча глаза, в ноги. Заплакал.

Гладит его по головке старец, гладит, шепчет:

– От юности моя мнози борют мя страсти... Ничего, Бог простит, ничего... – вздыхает, и слезки у самого каплют... – Ничего...

«И откуда это он все знает? – думает, содрогаясь в рыданиях, Павел. – Все, все ему открыто... Все ему Бог открывает...»

И, уже успокаиваясь после старческой ласки, перестает всхлипывать и чувствует, как легкая радость прощения и отпущения ложится на сердце весенним ковром распускающихся цветов...

6

В июне месяце родила Наденька сыночка. Ах как хотелось ей назвать его в честь отца – Натаном! Да кто ж окрестит младенца таким именем! И родители что скажут? А как же назвать? Да вот Иваном и назвать, – присоветовала маменька Варвара Ильинична, приехавшая в Петербург уговаривать дочь вернуться домой и по-людски начать жить. Грех-то – что делать? – покроем. А уж у отца Ивана Афанасьевича есть на примете для Наденьки жених, раскрасавец и человек добрый.

Какой еще жених! Зачем это? Не нужно Наденьке никакого жениха! А что же ей нужно? А вот... как объяснить старой мамаше, что пуще всех женихов стала мила Наденьке ее партийная работа: листовки, прокламации, бомбы да зажигательные речи товарищей Натана! Нет, этого сказать мамаше никак невозможно – с ума, что ли, скажет, дочь сошла?

Смотрит Наденька на своего распрекрасного «революционного» сыночка – не налюбуется. И глазки, и носик, и ротик – всё не Наденькино, всё от отца. Да куда же ей ребеночка-то теперь? В сиротский дом? О-ох!.. Кормит Наденька его грудью, а у самой глазки на мокром месте. От Натана всего одно письмо и получила через товарищей. Живет в Мюнхене, пишет в «Искру» статьи вместе с Лениным и еще этим знаменитым, как его... Парвусом. А она, Наденька, вместо того чтобы быть там, рядом с ним, с ними, помогать сокрушать ненавистный царизм!.. Ах, как несправедлива жизнь! Заплакала.

А мамаша-то, Варвара Ильинична, так и не поняла, отчего дочь рыдает. Поняла по-своему, стала снова увещевать-уговаривать домой вернуться, да ведь и уговорила.

Приехали в Нижний. Дом отцовский – полная чаша, лучший в городе, затейливый, модный, московский знаменитый архитектор строил, что и самому Рябушинскому в Москве. Из окон – вся Волга на высоком берегу, вся ширь ее необъятная, все просторы русские. Но для Наденьки дом родительский – что тюрьма. Тоскует ее душа по утраченному раю – великому смыслу жизни, ох как хочется ей Родине послужить, народу рабочему! Что ж, так теперь весь век сиднем сидеть и в окошко глядеть из папенькиной золоченой клетки?

А Ванечке (Натанчику) уже месяцок исполнился. Дома – мамок да нянек полно, Наденька и не нужна – кормилица кормит, молока у ней, что у дойной коровы, а у Наденьки от переживаний почти и нет ничего. А тут Иван Афанасьевич и жениха ей привел на смотрины, взглянула на него Наденька – такой-то с виду красивый, ладный (*управляющий* отцовским заводом), да только, Боже мой, зачем же он ей?! Закабалить себя навсегда, обложиться детьми, как ее мать, Варвара Ильинична, фу, мещанство! Разве об этом мечтала Наденька? О такой судьбе? Разве не мерещилась ей в подражание героическая Софья Перовская с петлей на шее? Ох, бежать надо, бежать скорее в свободную, эмансипированную жизнь! Страдала-мучилась Наденька, да и выпалила отцу вдруг:

– Уж вы как хотите, папаша, а возвращаюсь я обратно в Петербург, учиться продолжать, жизнь свою сама строить. Как хочу.

А Иван Афанасьевич и перечить не стал, сам видел: отрезанный дочь ломоть. Как пошло у нее наперекосяк, так уж теперь, видно, и дальше пойдет. Что ж, езжайте, Надежда Ивановна, скатертью дорожка. Иван с нами останется, усыновим. (Это он сразу решил, как только о беременности дочери узнал.) А теперь и души не чаял в первом внуке своем, старшие сыновья не женатые еще, а дочки – мал мала меньше, когда еще до них очередь дойдет! А только уж он теперь их от себя не отпустит. Сперва замуж, а дальше – уж как душеньке твоего супруга будет угодно! Хоть в университет, хоть на курсы, хоть... в бомбистки! Ну, это... так, в сердцах сорвалось, с досады, не приведи Бог дочерей своих верками фигнер да засулич на скамье подсудимых узреть!

Так и укатила Надежда Ивановна в свой Петербург. Матушка поплакала-поплакала о непутевой, да скоро и утешилась свет-Ванечкой. А Ивана Афанасьевича позвали в Москву дела неотложные – сам умнейший и благороднейший Александр Иванович Гучков.

7

Лето тысяча девятьсот пятого выдалось жарким не только по небывало высоким температурам – горели помещичьи усадьбы по всей Руси, что свечечки. И много, много надо было молодых жарких сердец, готовых отдать души свои и приложить руки свои для запаления всей необъятной, в неподвижной дреме лежавшей России.

Вот и золотой август кончается.

* * *

«Бога нет, царя не надо, губернаторов побьем, податей платить не будем, сами в каторгу пойдем», – мурлычет себе под нос революционную частушку Наденька – во рту травинка.

Ах, что это вы поете, барышня?

Едет Наденька на простой мужицкой телеге, в свежем, душистом сене полеживает и грызет сладчайшие янтарные яблочки – вкусно!.. А вокруг убранные хлебные поля, скирды закатанного сена, голубая небесная лазурь – благодать!

Рядом с Наденькой два товарища, старый ее знакомый Петр и совсем незнакомый Лева Гольд. Везут они спрятанные в сене прокламации. А в прокламациях тех вся правда, какая ни есть, сказано, что от народа власти скрывают, что самый лютый народный враг – царское самодержавие. Вот змея, которая обвила всю матушку-Русь и сотни лет сосет народную кровь!

Петр трещит не умолкая, объясняя везущему их мужику, что такое социализм.

– Вот у вас, положим, помещик. Сколько у него земли, а? А у тебя? А у твоего соседа? А?.. А почему, собственно?! Разве это справедливо?

– Так-то оно так... – вздыхает мужик. – Так ведь так оно испокон веков...

– Не должно быть так! – распаляется Петр. – Это все надо решительным образом поломать! – И он изо всех сил рубанул рукой воздух. – И – всё заново! Чтобы все равны! Знаешь, брат, была такая французская революция? Слыхал? Нет? Темные вы!.. – вздыхает. – Эдак вас еще сто лет просвещать!.. Так вот французы своего короля с королевой – бац! – на эшафот! Головы долой! И всем, кто против революции, – тоже! Зато для всех простых французов – свобода, равенство и братство!

– Ну куда уж нам до французов... – то ли вздыхает, то ли улыбается в бороду мужик.

– Ничего! – подбадривает нерешительного возчика Петр. – И мы сможем! Надо только нашу программу народу как следует объяснить! Не платить податей царю-кровопийце! Не давать рекрутов на антинародную войну убивать наших братьев-японцев! Вот увидишь, как только народ осознает да подыметесь на борьбу! И ты... как тебя, говоришь... Кузьма? И ты, Кузьма, помяни мое слово, еще увидишь зарю новой жизни! И возликуешь! А всех врагов народа – повесим!

Лева Гольд сидел, поворотившись спиной к соратникам, и всю дорогу молчал. Трудно сказать, о чем он думал, глядя в бескрайние российские дали, на сжатые хлебные поля с темными полосками леса на горизонте. С товарищами своими он тоже почти не разговаривал. Петр пробовал его расшевелить, Наденька начинала кокетничать, но Лева оставался строг и бесстрастен, он смотрел как-то поверх голов своих товарищей и в сторону, в какое-то недоступное для их взора пространство. И часто казалось Наденьке, что легкая, едва уловимая тень презрения застывала на Левиных губах, когда ему, словно против его воли, приходилось все же что-то отвечать товарищам.

Лева было восемнадцать, и числился он студентом Одесского университета, но лекции практически не посещал, весь отдавшись более вдохновенному занятию – борьбе с проклятым самодержавием. Он родился и вырос в Кишиневе, где его дед имел аптеку, а отец – часовую

мастерскую. В те годы Кишинев был пыльным, заштатным городишком с подавляющим преобладанием молдавско-еврейского населения, где русско-украинцы составляли самую ничтожную часть. В городе то и дело вспыхивали потасовки между иудеями и христианами, особенно почему-то на православную Пасху. Вот и в прошлом году, возбужденная газетными сообщениями «Бессарабца» о ритуальном убийстве христианского мальчика в Дубоссарах, христианская часть населения пришла в неопишное волнение. В самый светлый день Воскресения Христова полетели брошенные мальчишками камни в окна еврейских домов, а позже подвыпившие взрослые, разгулявшись, разгромили несколько еврейских лавок. Полиция арестовала хулиганов, и к вечеру беспорядки, казалось, утихли. Однако на следующий день бесчинства возобновились с новой силой. Наученные горьким опытом евреи уже приготовились защищать себя всерьез. Лева помнит, как к его деду приходили ночью молодые мужчины за серной кислотой, которой и плескали потом в русских, а у некоторых евреев было и огнестрельное оружие... Безумный погром тот начался с раннего утра, в беспомощности торкались неповоротливые полицейские из одной части города в другую, и только к ночи начальнику военного гарнизона удалось навести в городе порядок.

Погибло в тот злополучный день более сорока человек, в большинстве евреи, да несколько сот оказалось раненых... Погиб и дед Левы. А что потом из этого погрома сладострастно сотворила российская и международная пресса для всемирного возбуждения ненависти к России и ее царю, обвинив их в умышленном изуверстве, так это ему, Леве, без разницы. (На весь мир разнесли газетчики чудовищные басни о тысячах зверски замученных, изнасилованных и убитых, о заколачивании им в головы гвоздей и надругательствах над трупами да о том, что солдаты с полицией помогали погромщикам, а организовал погром и вообще министр внутренних дел Плеве, за спиной которого, естественно, стоял русский антисемит-царь!)

Что Лева до газет и до высокой политики! Никого он так не любил, как своего дедушку Самуила. Никто не умел так рассказывать о священной истории евреев, как он. Никто не мог зажечь пламень любви к оставленной ими навек почти две тысячи лет назад их родине... И глядя невидящими глазами на среднерусские безликие равнины, вставляли перед его внутренним взором другие картины, виделись ему могучие, бездревные и бестравные горы, голые каменные нагромождения, горы, уходящие в небо, и на самой высокой из них, скрывающей свою вершину в тучах Божественного мрака, стоящий в обнимающем и обжигающем его огненном столпе великий их предок Моисей...

Верил ли Лева в Бога? Да! В отличие от большинства своих сверстников, он верил в Того Бога, Который вывел народ Свой израильский из Египта и провел его, раздвинув воды, сквозь Черное море. В Того Бога, Который разговаривал с Моисеем на горе Синай, Который дал им скрижали завета, Который привел евреев, как и обещал, в землю обетованную, где текут мед и молоко, Который выделил их из всех народов земли, сделав их народом Божиим и избранным, пообещав ему царство земное и власть над всеми другими народами...

А Того христианского Бога, Которого его бабушка Дора называла «мамзер» («незаконнорожденный») и при виде крестного хода накрывала ему, Леве, голову платком – «чтобы твои светлые глаза не видели эту нечисть», Того Бога Лева научился, как и его бабушка, презирать.

С того самого весеннего, «пасхального» погрома загорелась в его душе жажда праведного мщения. За все страдания избранного Богом своего народа, прозябающего в униженности среди этих вечно пьяных и дерущихся ничтожеств, у которых и души-то, как говорит бабушка Дора, нет! За все гонения, которые претерпели евреи за две тысячи лет рассеяния. (Откуда, из каких стран их только ни гнали! Катило их ветром по миру, как осеннюю сухую листву!) За то, что у всех народов есть родина и только у любимого Богом Его народа она почему-то была отнята, но, свято верил Лева, как верили все евреи, не навсегда! О, придет их день и придет их час, и тогда!..

Он вступил в отряд самообороны, приобрел пистолет, научился прекрасно стрелять. Теперь он ходил по улицам родного города всегда с оружием, нащупывая в кармане его приятную, металлическую прохладу. Ходил гордо, по-хозяйски, никому не уступая дороги, даже и полицейскому офицеру. И все будто чувствовали Левину новую силу и даже признавали за ним это его новое соблазнительное право никому не уступать, словно чуя его неоспоримое превосходство.

Тогда же он вступил и в еврейский рабочий союз БУНД, входивший в состав РСДРП как автономная организация.

В начинавшейся разгораться смуте послали Леву поднимать на бунт против царя и помещиков крестьян. Не первый раз он ехал в деревню с прокламациями и речами. Не всегда его прокламации и речи имели успех. Однажды недоумные крестьяне чуть не отдали его полиции, еле успел сбежать. А однажды, обозленный пропагандистской неудачей – никак не хотели тупые мужичьи головы вместить, кто их враг, и разделаться с этим врагом беспощадно! – подговорил Лева одного пропащего человека: порезали они ночью всю мужицкую скотинку. А рано утром, когда проснувшиеся мужики увидели издыхающую свою животину да встал над деревней бабий вой, Лева уже был далеко...

Петр давно перестал творить зажигательные речи перед Кузьмой, притомился. Он лежал теперь в сене рядом с Наденькой, отдыхая от трудов праведных, и, заглядывая в ее синие очи, нашептывал ей разные смешные и ласковые словечки. Как нежный ветерок, пробегавший по Наденькиной щечке, они убаюкивали ее, и, почти засыпая, она видела перед собой насмешливое лицо далекого ее возлюбленного Натана Григорьевича, извергающего, как пророк, огнедышащие послания, которые они призваны были развеять по всему российскому свету для скорейшего достижения народного счастья. И губы ее улыбались чуждому видению. А где-то, думала Наденька, в это самое время подрастает маленький сыночек пророка, который, когда вырастет, пойдет по стопам родителей, будет бороться за светлую, прекрасную жизнь.

Наконец они въехали в большое село, называемое Царевщиной, где крестьянским просвещением руководили члены эсеровской партии – местные учитель и фельдшер. Молодых пропагандистов приняли как родных и равных, а на следующий день состоялась крестьянская сходка, на которой выступали приехавшие из Петербурга социалисты.

Петр говорил горячо и сбивчиво, размахивая и потрясая руками, напирал на примеры французской революции и казнь Марии Антуанетты. Про французскую Марию крестьяне ничего не слышали, а потому, узнав про ее отрубленную голову, многие даже и посочувствовали несчастной «королевне», а одна из баб (ну дура душой!) и вообще принялась громко реветь.

Дело поправил Лева Гольд. Он доходчиво рассказал мужикам о том, какую борьбу ведут их братья-рабочие в городах, каких успехов они добились своими выступлениями против царя и капиталистов, а еще о том, что отстоять свои права на достойную жизнь можно только организованно и с оружием в руках. И потому крестьяне должны всемерно поддерживать рабочих, ибо борются они за одно, общее дело.

Леву выслушали в полном молчании. Ну хорошо, борьба борьбой, рабочие устраивают забастовки, кто-то им, очевидно, за это платит или кормит, пускай, а крестьянину чего бастовать? Ему сеять вовремя надо да вовремя убирать, а пробастуешь, так и жрать нечего будет... Ему, вздыхали, землицы бы...

Ох земля-земля, землица ты матушка, землица-кормилица... Сколь ни много тебя на Святой Руси, а не иссякает жажда в тебе вовек, не наработаться на тебе досыта!

– Едоков с каждым годом все больше нарождается, а землицы не прибавляется. Откель ее взять?

– Да вот у барыни вашей и забрать! – заключил учитель. – Партия эсеров выступает за полное изъятие помещичьей земли в пользу крестьян! И не выкупать землю, а раздать бесплатно в пожизненное владение!

– Я вот что вам скажу, мужики. Довели вас до полного разорения. Кто довел? Помещик? Иль царь? Коли царь не может вас от разорения защитить, так на что он нам такой нужен? Вон у вашей барыни сколько земли зазря пропадает! Почему ж она не поделится с вами по-христиански?

– Верно говорит Николай Степанович! Земля ейная – что праздная девка без толку мается, а мы свою по лоскутку делим!

– Айдайте, ребята! – завопил молодой парень. – Теперь свободно! Валите теперь к помещикам и разграбляйте ихнее добро, за то теперь ничего не будет!

– погоди орать, – остановил парня степенный, лет пятидесяти, мужик. – Надо, чтоб все по-Божьему было, по справедливости... Чужого мы не хотим, а ежели нам на прокорм не хватает, так и Господь сказал: трудящийся достоин пропитания...

– Верно! Верно! Земля – ничья! Земля – Божия! – загалдели вокруг.

Так и сговорились царевщинские мужики сей же ночью бырынино имение «разобрать». Ах как вспыхнуло и загорелось ярким огоньком, как хороводно закружилось в Наденькиной головке это сладкое слово «разобрать»! Она знала, знала, что значит «разобрать» барынино имение по зернышку, сколько раз слушала веселые рассказы товарищей. И вот сейчас она увидит этот «разбор» воочию, а потом расскажет все в подробностях Натану. Вот ведь и самый темно-дремучий, и безнадежно отсталый класс, а стоило бросить искру о матушке-кормилице, как сразу вздыбливалась в мужичьих головах погасшая вроде бы воля на бунт, готовая к вилам и топорам.

Довольные выполненным поручением молодые партийцы, оставив учителю прокламации, должны были бы сей же час и покинуть село во избежание возможных столкновений с полицией. Но Наденька умоляла повременить и уехать ранним утром, когда уже все окончится. Уж как ей хотелось увидеть всю картину «разбора» имения, а то и запаленного «петуха» (вот когда весело-то!): «Когда еще выпадет такой случай?» – топорила она нижнюю губку.

Лева, памятуя в подобной ситуации свой побег от полиции, заявил, что это безрассудство и рисковать просто так, по-глупому он не намерен. Петр же, естественно, выступил в защиту Наденькиной опрометчивости, не в силах отказать даме сердца в своеобразном ее капризе.

Бросив своих товарищей, Лева ушел один.

Ночью по глухому удару колокола стали съезжаться с окрестных деревень сотни запряженных телег. Разговоров никаких; только всхрап и пофыркивание лошадей. Молодая луна чуть освещала фантастическую картину громадного и необычно немого табора. Лиц не было видно, лишь угадывались очертания лошадей да чернели темные силуэты сидящих по телегам мужиков. А в телегах – мешки для зерна, топоры, вилы, лопаты.

Наденьку уговаривали остаться ночевать в доме учителя: не барышнину, мол, это дело, – но ее только растревляли эти уговоры. С горящим взором уверяла она всех, что ничего не боится, а если и полиция, так что же? Она всегда готова невинно пострадать!

Мужики не любили блажных и оставили ее в покое. Пущай!.. Ее с Петром усадили на телеги, раздался условный свист, и лошади друг за другом рысцой побежали по знакомой дорожке за две версты, к барской усадьбе.

Ночная тишина обволакивала село. Ни глупого лая собак, ни тревожного голоса ночной птицы. Только и слышно глухое тарактенье колес да невидимая в темноте пыль поднималась вслед проезжающим телегам.

Минут через двадцать показалась на горке старинная барская усадьба, освещенная голубоватым светом вошедшей в полную силу луны. Усеянное звездами небо было торжественно и прекрасно и словно взывало к поэтическому восторгу. Но на небо никто не заглядывал. Первые подъехавшие телеги уже сгрудились вокруг помещичьих амбаров. Легко сбивая замки, запускали свои ловкие, неторопливые крестьянские руки в чужое добро, накладывали полные телеги и, крестясь, так же спокойно и тихо отъезжали, уступая дорогу другим. Чинно, слаженно, без

суеты и спешки работали мужики, словно и не воровали вовсе, а брали – по высшему правосудию – свое.

В доме ни огонька и по-прежнему тихо. Спит старая барыня, не ведая, что пришел и на нее Божий суд. И сторожей никаких нет, или уж и они спят: да от кого тут и сторожить?

А Наденьке скучно. Как-то уж больно все обыденно и прозаично. Ни истошных воплей ограбленных, ни рева зарезанной скотины, ни зарева пожарища, ни наезда полиции – стоило ехать!

И, словно отвечая ее тайным разочарованиям, уже забирая последние остатки барского добра, подошел к Наденьке молодой парень и усмешливо спросил:

– Как ты, барышня, звать-то?

– Надежда... Ивановна. А вас?

– Васькой кличут, – осклабился парень. Глаза его нагло уставились на Наденьку и бесстыдно зашарили по всей ее фигуре. – А что, Надежда Ивановна, не запалить ли нам эту канитель к... матери? – И он, не стесняясь, грязно выругался.

У Наденьки аж сердце захолонуло. Она слотнула слюну и от неожиданности сдавленным голосом торопливо пролепетала:

– Запалить!

И, боясь, что парень вдруг возьмет да и передумает, вся дрожа от предвкушаемой радости и нетерпения, она еще раз громко воскликнула:

– Да, да, Васенька, пожалуйста, миленький, запалить! Непременно, непременно запалить!

Парень зло усмехнулся и поднес к сену огонь.

Ах, как он весело побежал по сухой траве! Какой густой повалил дым!

В доме наконец проснулись. Забегали, засуетились, закричали.

Огонь охватил уже весь амбар и перекидывался на другие строения.

Лошади быстро уносили последних «экспроприаторов», вместе с ними уехал и Петр. А Наденька как замороженная все стояла и смотрела, жадно вбирая глазами, как бегали в растерянности вокруг барского дома человеческие фигурки, как вздымала руки к небу старая барыня в белом ночном чепце, как мощно, и яростно, и неотступчиво подступал к барскому дому огонь...

– Ну что, Надежда Ивановна, нравится тебе эта люминация? – вкрадчиво спросил парень, дотрагиваясь до ее плеча и чуть надавливая, прижимая ее к себе.

– Нравится, – не отрывая остановившегося, напряженного взгляда от бушевавшего огня, резко проговорила Наденька. Она дышала тяжело, открытым ртом, как задыхавшаяся без воды рыба.

– Дак ведь свои ж ведь, ваши ж горят, – продолжал искушать парень. Его рука, сжимавшая Наденькино плечо, дрожала, и дрожащим же голосом, уже почти не владея собой, он прохрипел: – Не жалко?

– Не жалко, – коротким и звонким эхом отозвалась Наденька.

– Ну а коль всю Россию так-то подожжем? А?! – вдруг гикнул парень.

Наденька взглянула на Василия – сумасшедшие искорки прыгали в его глазах.

И вдруг от избытка чувств лицо ее исказилось, из груди вырвался хриплый, не похожий на человеческий голос не то рык, не то взвой, она глянула на поджигателя, и они оба захохотали и, не сговариваясь, как безумные, взявшись за руки, прыгая и кружась, бросились в какой-то колдовской танец. Лицо у Наденьки горело, волосы растрепались, в отсветах пожара глаза – в пол-лица – казались черными и страшными. Вдруг парень резко остановился, рванул Наденьку к себе и впился в ее губы. Безвольно обмякая в его руках и почти теряя сознание, она упала в траву...

Без сожаления покинувший товарищей Лева Гольд добрался до города только под утро. Первым делом он почему-то отправился в полицию и доложил о готовившемся ограблении в селе Царевщина. К его заявлению отнеслись серьезно и отправили в село полицейский отряд, самого же еле державшегося на ногах Леву еще долго мурыжили, пытаясь у него, кто он такой, да откуда знает, да не сам ли участник. А потом взяли и предложили посотрудничать. А Лева взял да и согласился.

Он и сам не понимал, как это так вышло. Зачем он пошел в полицейский участок, зачем донес на товарищей, зачем согласился сотрудничать с полицией? И, задавая себе эти вопросы, он только пожимал плечами и презрительно кривил губы.

Утром полиция арестовала Петра, Наденьку, фельдшера и учителя.

Зачинщиков из крестьян, принимавших участие в грабеже, начальник отряда Филонов приказал поставить перед церковью на колени, призвал батюшку и заставил покаяться. Такая репрессивная акция вызвала возмущение в прессе. Журналист (социал-демократ Семечкин) резко обвинил Филонова в «превышении полномочий» и «моральном издевательстве» над солью русской земли (читай, царевщинскими мужиками). Заклейменный общественным презрением Филонов и не думал оправдываться, так уж исторически сложилось в России, что презируемая всеми «охранка» виновата всегда, по определению.

Через несколько дней чувство общественного негодования все же нашло свое законное удовлетворение – Филонов был застрелен среди бела дня восемнадцатилетней барышней-эсеркой как враг народа.

Но история и на этом не закончилась. Два оказавшихся свидетелями офицера схватили барышню и отвели в участок. Пресса снова подняла крик о свершившемся акте глумления над беззащитной барышней, якобы избитой офицерами (что на следствии, разумеется, не подтвердилось), но на офицеров началась охота, и очень скоро они оба оказались жертвами революционного террора.

Барышню (признанную не вполне психически здоровой) оправдали, а о скончавшейся с перепуга во время пожара старой барыне, разумеется, не вспомнил никто.

* * *

В тюремное заключение Петр попал впервые, и камера произвела на него ужасающее впечатление. Он вдруг впал в страшное уныние и хотел уже даже объявить голодовку (чтобы его поскорее как-нибудь оправдали и выпустили из тюрьмы), но, попробовав отказаться от ужина, к утру так оголодал, что на завтрак попросил двойную порцию каши, и снисходительный дежурный тут же ему и отвалил.

Наденька же, напротив, была весела и счастлива и все время что-то про себя напевала, а то требовала от тюремщиков книг, бумаги, и ее терпеливо выслушивали и приносили, а она капризничала, выбирая, и служители только добродушно ухмылялись. Теперь Наденька чувствовала себя настоящей революционеркой, страдальцей за народное счастье, чувствовала, что жизнь ее полна, переполнена большим содержанием и смыслом, и с радостью думала о том, как она будет рассказывать Натану о своих новых революционных геройствах. (Финальный аккорд с поджигателем Василием как-то сам собой вытеснился из ее памяти.)

Вот только Петр, хмурилась Наденька, непонятно, отчего он так загрустил? Ну подумаешь, месяц-другой в тюрьме, а там суд – и на поселение, а может, и вообще на свободу, прокламации – это же не теракт, а... законное право на свободу слова, за которое они все борются и, Наденька верила, победят!

Они переписывались с Петром все через тех же беззлобных охранников, и с каждой новой запиской Наденька ощущала, как в нем нарастает угрюмое, безнадежное отчаяние. И чтобы подбодрить товарища, она придумала превеселую штуку. «А давай, – предложила она в оче-

редной записке унывающему сидельцу, – объявим себя женихом и невестой. Нас обвенчают, а после суда вместе съездим ненадолго в ссылку, вдвоем все веселее!»

Наденькина идея мгновенно оживила Петра, мрачные мысли о пропавшей жизни рассеялись как дым, он воспрянул духом и в следующей же записке бесстрашно объяснился Наденьке в любви, чем вызвал у нее приступ веселого, чуть не истерического смеха. Ведь для самой Наденьки это была просто игра, шутка, вполне объяснимое в их тюремной скуке развлечение, она не относилась к своему предложению всерьез и по-прежнему любила Натана.

Теперь Петр считал дни, когда придет обещанный батюшка и совершит над ними таинство Брака. Неожиданность исполнения его тайных мечтаний приводила его в восторг и трепет, и он чуть было не поверил в неисповедимые пути Божественного Провидения.

Как и угадывала Наденька, после венчания и суда их отправили в ссылку на два года, и не в Сибирь, а всего лишь за сотню километров от Вологды, в Ферапонтово, где когда-то пребывал в узах великий ревнитель по исправлению богослужебных книг и обрядов патриарх Никон.

8

Сергей Юльевич Витте не разделял «мальчишеской» дальневосточной политики царя. Твердо встать на Тихом океане, как когда-то твердо встали в Прибалтике и на Черном море, получить наконец открытый выход в океан, иметь незамерзающую гавань для своей торговли, расширить русское влияние на азиатском Востоке – все эти царские мечтания великий министр финансов называл ребяческим беснованием.

Такая неумная, зарвавшаяся политика непременно приведет Россию к войне с японцами, – пророчествовал Сергей Юльевич. Заявления царя, что войны, мол, не будет, потому что «я ее не хочу», а японцы, мол, «не посмеют», он считал просто самонадеянной глупостью. «Разве все на свете зависит только от „твоего хотения“?» – возмущался министр. И отчего же это японцы-то не посмеют? Очень даже посмеют, уж он-то знал, как японцы, напшигованные английскими деньгами, готовятся к войне! И потому его разумное кредо, так и не услышанное царем, – надо уступать!

Это тайное и явное противодействие монаршей воле привело Витте к почетной отставке (царь предложил ему высшую в государстве, но малозначащую должность председателя Комитета министров). Как бы второе лицо в империи, а рычагов воздействия практически никаких. Ведь министры подчинялись напрямую царю и председательство Витте оказывалось мыльным пузырем, так, одна видимость. Неблагодарность сына Александра Третьего ужасно раздражала Витте. Уж, казалось бы, кто-кто, а Сергей Юльевич послужил на славу и предыдущему царю, да и этому служил по совести, как понимал. Не прислушаться к его мудрым советам теперь, когда все висит на волоске, когда бомбисты всех мастей только и ждут момента, что монарх споткнется, чтобы тут же дружно и навалиться всей кучей на царя, – ну разве не безрассудство?

И вот теперь, когда война все-таки внезапно (для нас!) началась, под гром ошеломляющих поражений Сергей Юльевич тайно торжествовал: «Я говорил! Предупреждал! Настаивал! Не послушались! Теперь хлебайте и Порт-Артур, и Мукден, и Цусиму!»

Торжествовало (явно) и русское *общество*, не прощавшее царскому режиму ни одной неудачи, и от каждой неудачи захлебывалось в презрении к «прогнившей» власти.

Земство, студенчество, профессура, интеллигенция, пресса, не говоря уже о радикальных партиях, радовались успехам противника, внушая русским офицерам невозможную никогда прежде мысль о благе поражения, и как душевнобольные маниакально повторяли одно и то же слово: долой!

Чем хуже для России, тем лучше для нас, ее переустройщиков.

На приоритете поражения соглашались и *общество*, и революционные круги, и – что уж совсем странно – бывший министр финансов Витте, уныло твердивший, что России Маньчжурия не нужна, что война – следствие авантюрных замыслов на Дальнем Востоке, что он боится быстрых и блестящих русских успехов, ибо они сделали бы Санкт-Петербургские круги слишком заносчивыми, что России следует еще испытать несколько военных неудач, и прочее.

Неудачи и следовали одна за другой, причин тому было много, а виноватыми в глазах смертельно больного левизной общества были одни, был один. Царь.

Англия и Соединенные Штаты и деньгами, и морально поддерживали Японию. Но когда японцы перешли грани дозволенного им успеха и слишком увлеклись победами, западные демократии, желавшие поражения России, но без опасного для них самих усиления Японии, продемонстрировали наконец, как всегда, свое человеколюбивое стремление к миру.

Для России же мир без единой внятной победы казался недостойным и странным.

Смещенный с поста главнокомандующего генерал Куропаткин настаивал на продолжении войны. Теперь, когда Япония истощила все свои силы, Россия только-только набирала военную мощь.

«Неужели хоть на полгода нельзя вдохнуть в интеллигенцию России чувство патриотизма? – в отчаянии писал с театра военных действий бывший главнокомандующий. – Пусть, по крайней мере, не мешают нам продолжать и с почетом окончить трудное дело войны с Японией».

Ни на полгода и ни на один день! Интеллигенция *устала*!

Боже, помоги нам быть разбитыми! – молилась она (очевидно, богу демократии и прогресса) о японской победе.

– Если русские войска – не дай Бог! – одержат победу над японцами, что, в конце концов, знаете ли, совсем уж не так невозможно, то будущая свобода будет преспокойно задушена под крики «ура» и колокольный звон торжествующей империи! – волновался Тарас Петрович. – И тогда – что же? Прощай, дорогая надежда на европейскую демократизацию и прогресс? Нет-нет, пусть лучше трижды победят японцы! Подумать только, ваш, Елизавета Ивановна, кузен в начале войны осмеливался при мне заявлять: мы, мол, япошек «одной мимикой» одолеем! А?! Каково!.. Вот вам и «непобедимый росс»! Вот вам и «макаки»! – И Тарас Петрович густо захохотал.

– А я знаю! Макаки – это такие обезьянки? Да, папочка? – спросил Глебушка. Он готовился сдавать экзамены в первый класс гимназии и потому проявлял исключительную любознательность.

– М-да! – ответил Тарас Петрович, не обращая внимания на вопрос сына. – А ваш несравненный Куропаткин победил японцев уже задолго до того, как его поезд выехал на Дальний Восток! Я тоже, милостивые мои государи, патриот и люблю Россию, но, признаться, считаю, что хирургическое вмешательство иногда бывает лучшим средством для спасения страны и доказательством любви к Родине! Да-с! Именно хирургическое вмешательство!

– Я не понимаю, почему любовь к Родине требует победы ее врагу? – неожиданно спросил Павел.

– А ты, дорогой мой, еще многого не понимаешь. Это такая, как сказали бы твои отцы-черноризцы, благочестивая русская традиция.

– Не понимаю...

– А ты вспомни, как в Крымскую войну Герцен со товарищи тоже призывали поражение России. Ты спросишь: почему? А я тебе отвечу, что только поражение николаевской России способствовало скорейшему осуществлению либеральных реформ Александра Второго! И умные люди это понимали! Помнится, Герцен даже писал своему другу в Италию, как он мечтает, чтобы англо-французская коалиция взяла наконец Крым. Тогда Николаю пришел бы конец, а он, Герцен, из туманного Альбиона переселился бы со своим «Колоколом» в *английский* город Одессу! Остроумно! – И Тарас Петрович довольно засмеялся. – Вот почему я и теперь желаю поражения России! Из любви к свободе!

– Господь сказал: «...познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина, а не политическое устройство, – промолвил Павел.

– Истина?! – взревел Тарас Петрович. – Какая истина?.. В чем твоя истина? Истина в том, что ты просто глуп! Поучись у своего старшего брата, как нужно понимать свободу и как за нее бороться! Лучшие молодые люди не щадят жизни своей, с восторгом идут на каторгу и виселицы, а у тебя на уме одни попы и... и черт знает что!..

– Тарас Петрович! – укоризненно обратилась к мужу Елизавета Ивановна. – Побойся Бога, ты не у себя на кафедре, здесь дети... – указала она глазами на маленького Глебушку.

Немного остудив пыл, Тарас Петрович подошел к пасынку и по-отечески положил ему руку на плечо.

– Настало время, Павел, когда целое государство не может управляться волей одного человека. Одного... недалекого человека! Одного мещанина! – Голос Тараса Петровича вновь затвердел сталью и взвился ввысь. – Русский народ в лице своих лучших представителей тре-

бует не только участия во власти, но самой власти! Взгляните на Францию, Англию, Американские Штаты, – приглашал Тарас Петрович свое семейство к обозрению политического глобуса. – Почему народ там доволен, счастлив и благоденствует? Потому что в этих странах царствует демократия! Запомни, Павел, свобода, равенство и братство – выше, справедливей и благороднее этих лозунгов человечество не придумало ничего! И пока в нашей стране правит не избранный президент, не ответственное перед народом правительство, а царь и его разбойничья шайка... – Лицо профессора-гуманиста снова перекосила гримаса отвращения.

– Какое же равенство, если черные в Америке не равны белым, и разве капиталист – брат рабочему? Почитайте позднего Герцена, да он был просто в отчаянии от мещанского царства в вашей Европе...

– Что?.. Кого-с? Герцена?! – Тарас Петрович с великим изумлением посмотрел на Павла как на отрезанный уже ломоть, потом гневно – на Елизавету Ивановну (и даже маленькому Глебушке достался негодующий взгляд отца), отшвырнул салфетку и сердито засопел. И этакое ретроградство ему приходится терпеть в собственном доме, от своего пасынка!

– Да я, милостивый государь, знаю Герцена наизусть с пеленок! – загремел он и с пафосом продекламировал:

Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай!
Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить.

– Это Огарев, – тихо поправил отчима Павел.

– Ну да, Огарев, какая разница! Они все ненавидели Россию!

– Как же это можно ненавидеть свою страну? – не сдавался пасынок.

– Да потому что эта страна – урод, милостивый государь! Понятно вам это? У-род! В семье, как говорится, не без уродца, – со значением произнес Тарас Петрович. – Вот и Россия наша – такой же урод среди всех цивилизованных народов Европы! – выкатывал глаза на пасынка и брызгал слюной профессор.

У Глебушки, больше всего на свете боявшегося папочкиной сердитости, уже давно переполнились глаза слезами. Он уткнулся лицом в тарелку и изо всех сил крепился, чтоб не зареветь.

– Тарас Петрович... Павел... прекратите за столом свой политический диспут! У нас сегодня ваш любимый пирог, – пробовала отвлечь мужчин бедная Елизавета Ивановна. – Евдокия, – обратилась она к кухарке, – подавай самовар.

Чай пили молча. И даже обожаемый всеми домашними вишневый пирог не мог успокоить разбушевавшиеся страсти. Маленький Глебушка сидел как мышка и старался незаметно от всех выковыривать ягодки, Павел не столько ел, сколько задумчиво отщипывал и крошил на тарелке маленькие кусочки пропекшегося румяного теста, и только аппетит Тараса Петровича, несмотря на идеологические нестроения в семье, не потерпел ни малейшего материального ущерба.

Утешившись двумя громадными порциями пирога, Тарас Петрович снова впал в ностальгическое благодушие и, не обращая ни к кому в особенности, предался умирительному воспоминанию.

– Мне было примерно столько же лет, как тебе, Павел, когда на всю страну прогремел выстрел, перевернувший жизнь целого поколения, – задушевно начал профессор. – Это был не первый выстрел в самодержавие и, как мы теперь знаем, далеко не последний. Но это был первый залп, одобренный всем русским обществом. Да что я говорю: «одобренный»! Не «одобрен-

ный», а вызвавший восторг, восхищение, страстное желание подражать! Имя этого народного героя, вернее героини, ибо я говорю о женщине, о великой женщине, о женщине бесстрашного огненного сердца, – Вера Ивановна Засулич! Вера Засулич выстрелила в генерала Трепова, позволившего поднять руку на беззащитного арестанта! И – о чудо! – один лишь бессмертный выстрел этой молодой хрупкой женщины смыл вековой позор с обесчещенной России! О, я готов был пасть на колени перед этой новоявленной русской Жанной д'Арк и целовать край ее платья! Ни один мужчина не поднялся во весь рост и не сказал им, своим палачам: довольно! Довольно унижений! Вы можете нас казнить, но не смейте унижать наше человеческое достоинство! Иначе... иначе вас будет ожидать неминуемое возмездие! И я уверен, после выстрела этой женщины ни один любитель розог не посмел бы применить презренного орудия казни без внутреннего содрогания получить за это пулю в грудь! И один ли я так чувствовал?! О нет! Таких, как я, было много-много, большинство, и не только молодые, студенты, но и чиновники в орденах, и дамы высшего света, съехавшиеся на процесс и суд как на спектакль, как на праздник, все аплодировали как бешеные, когда судья огласил приговор присяжных: нет, не виновна! Что тут началось!.. Светопреставление! Вой, крик, слезы, стенания, истерика у дам! Веру Ивановну вынесли на руках!.. Правда, на следующий день царь опомнился и повелел дело пересмотреть, но Вера Ивановна была уже далеко, переправлена за границу... Знаешь, как мы пели тогда? «Грянул выстрел-отомститель, опустился Божий бич, и упал градоправитель, как подстреленная дичь»! Что это были за дни, Боже ты мой!.. Много лет я мечтал увидеть Веру Ивановну, склонить свои колена перед ее подвигом, и вот судьба оказалась милостивой, я ее увидел, кумира своей юности. Где, как – не буду рассказывать, это долго, не суть. Захожу в ее скромную комнатку: везде грязь, не убрано, на столе гряда немытой посуды, сидит моя милая Вера Ивановна, как роза в саду. Одета простенько, по-прежнему нигилисточкой, ситцевая блуза, перетянутая пояском, волосеночки острижены, сидит она этак-то за столом, погруженная с головой в книгу, потом подсмотрел – Карла Маркса голубушка читала, – и ничегошеньки вокруг себя не замечает. Я – хряп на колени. – Разволновавшийся Тарас Петрович и в самом деле пал на колени перед Глебушкой и стал тереть его маленькую ручку, испачканную выковыренными вишнями. – Вера Ивановна, – говорю, – милая вы моя, Жанна д'Арк ты наша, позвольте ручку вашу... ручку, которая в генерала Трепова... дайте облобызать!..

И тут вдруг Глебушка не выдержал и заревел во весь голос. Что уж его так проняло – Бог весть, а только непредсказуемый этот рев до того смутил Тараса Петровича своей неразумностью, что вместо обычного вскипания он растерянно оглянулся, как бы приходя в себя, и, увидав вокруг привычный круг семейства, только безнадежно махнул рукой и в окончательном негодовании покинул столовую.

«И враги человеку – домашние его», – вертелась в голове оскорбленного в самых святых чувствах профессора непонятно каким ветром занесенная в его голову евангельская фраза.

– Павленька, – укорила сына Елизавета Ивановна, обнимая и утешая маленького Глебушку, – зачем ты раздражаешь Тараса Петровича?.. У него принципы... А ты бы молча... молча покушал бы... и – ничего... Вот и батюшка Иоанн говорит: мало в нас смирения... – И Елизавета Ивановна тяжело вздохнула.

А кругобайкальская достроенная железная дорога пропускала уже до двадцати военных поездов в сутки, а не четыре, как было в начале войны...

9

«А вот ведь и не оказалось у царя ни одного министра, способного справиться с этой труднейшей задачей», – с некоторым злорадством думал Сергей Юльевич, плывя в Америку на пароходе заключать при посредничестве Теодора Рузвельта мир с японцами.

Останавливаясь в Берлине, встречался со своим другом, главой Берлинского банковского дома Мендельсоном, вел доверительные беседы и все больше – в пессимистическом тоне. Нужно-де пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми за последние десятилетия. Мы не будем играть мировой роли – ну, с этим нужно помириться – и так далее. И все жаловался и жаловался покуривавшему трубочку банкиру на Николая, на его дальневосточную «авантюру», на «мальчишеское» управление стасорокамилионным народом и все никак не мог простить пренебрежение «мальчишки» – царя к его высокопрофессиональным мнениям. Теперь что же, все царские помощники да советчики, заглядывавшие ему в рот, разбежались по отставкам, а отдуваться за всех и за вся приходится опять же ему, неоцененному, не превзойденному по уму государственному мужу, полуопальному Витте! Впрочем, и некоторая гордость раздувала щеки. Давно сказано: нет пророка в своем отечестве, – воистину так!

Мендельсон бесстрастно слушал излияния русского министра и, когда тот иссяк, вымолвил только одно слово:

– Англия...

– Что – Англия? – переспросил Витте.

– Вы слишком быстро растете. Англия не потерпит усиления России.

– Какое уж тут усиление, – усмехнулся Сергей Юльевич. – Дал бы Бог полного разгрома избежать.

– Ваши дипломаты, – спокойно продолжал Мендельсон, – до сих пор не понимают политики англичан, которая многие столетия сводится к одному: устранять своего соперника, всякого потенциального конкурента, угрожающего их первенству, и желательно чужими руками, пока он еще только на пути к своему могуществу. Так было в свое время с Испанией, Португалией, Голландией, так было с Францией, так будет и с Россией.

– Но тогда – так будет и с Германией?! – воскликнул Витте.

– Совершенно справедливо. Так будет и с Германией. Если она поссорится с Россией.

– Это невозможно, – после паузы произнес Сергей Юльевич. – У нас нет столкновения интересов... ни в одной точке.

– Вы полагаете, что войны между государствами всегда обусловлены столкновениями только их интересов? Вы исключаете интерес третьей стороны?

– Но близкие родственные отношения наших царствующих домов не позволят перейти границы...

– Полноте. Австрии не помешало воевать с Наполеоном то обстоятельство, что гениальный корсиканец был зятем австрийского короля и отцом его внука.

– Что же, вы думаете, что Россия может когда-нибудь начать войну с Германией?

– Я не пророк, дорогой Сергей Юльевич, я банкир. Я верю только в одну могущественную силу на земле – деньги и только в один на свете союз – выгоду. Ваши цари получают слишком романтическое воспитание, несовместимое с современным прагматизмом и расчетом, да и, простите, обыкновенным лукавством. Они слишком честны и прямодушны для такого нечистого и нечестного дела, как политика. Европа живет интересами и выгодой, а вовсе не благородными принципами и честью. И если вы делаете ставку на честь и верность, ваша карта всегда будет бита.

– Так вы считаете... что России не следует заключить мир?.. – сделал неожиданный вывод Витте.

– Европе мир России с Японией необходим, поскольку сила России нужна ей здесь, а не на Дальнем Востоке. Но если бы я был министром и другом вашего государя, я бы посоветовал ему не торопиться.

– Благодарю за откровенность, – пробормотал Сергей Юльевич, не поколебленный, однако, в твердом желании довести дело мира до конца.

Потом уже, на пароходе, составил план, как вести себя в Америке. С полным достоинством, как представителю великой и *непобежденной* державы («Разбита не Россия, а порядки наши!» – твердил про себя обиженный Витте), а с другой стороны – предельно демократично. И особенно со всемогущей американской прессой. И ведь отлично удалось! Все газетчики наперебой писали о простоте, доступности и благожелательности русского премьера. А когда Витте в первый раз повезли в экстренном поезде и в простоте сердечной он пожал машинисту поезда руку (и потом каждый раз поступал так же), на следующий день все американские газеты просто захлебнулись от счастья. Никто не ожидал от русских варваров такой цивилизованной демократичности! И хотя Сергей Юльевич смертельно уставал от постоянного актерства на демократических подмостках (вечером у него даже сводило скулы от насильственных, через край, улыбок), но... чего только не вытерпишь ради блага неблагодарного отечества!

Японская делегация, хранившая восточную скрытность и отчужденность, выглядела на фоне Сергея Юльевича дремучими азиатами и в плане симпатий американских граждан бесконечно проигрывала русскому министру.

То, что мы непобежденная страна, прекрасно понимал не только царь, давая своему уполномоченному послу при заключении мирного договора наказ: «Ни пяди русской земли, ни гроша контрибуции», – в глубине души понимал и сам Витте. В отличие от выдохшихся японцев, мы могли бы вести войну еще сколь угодно долго и до победного конца, если бы... не внутренние нестроения – террористическая война, развязанная российским *обществом* против русского правительства. И в этой войне на стороне японцев (как и на стороне всех антирусских и антиправительственных сил) выступали главные американские финансовые короли – Якоб Шифф и компания.

Дважды встречался с ними Сергей Юльевич.

Всячески пытаюсь смягчить недружелюбный настрой американских финансистов, разъяснял политику русского правительства, как вовсе не враждебную для российских евреев и направленную на постепенное движение к уравниванию их гражданских прав. Два года назад ему уже приходилось у себя дома вести подобные разговоры с местными представителями еврейских банкиров. Тогда Витте, будучи сам сторонником еврейского равноправия, ставил возможность разрешения этого вопроса в зависимость от «совсем иного поведения» евреев, имея в виду их беспрецедентно активное участие в революционной смуте. «Предоставьте русским решать вопросы их политического устройства, заботьтесь о себе», – советовал им Сергей Юльевич.

И вот теперь по тому же болезненному вопросу встречался он с Якобом Шиффом, чрезвычайно разгневанным «антисемитской» политикой царя и оказавшим двухсотмиллионную финансовую помощь Японии на вооружение в войне против России и подпитку ее революционно-террористических партий.

От русского премьера Шифф настойчиво требовал окончательного и незамедлительного решения еврейского вопроса, и эта жесткая требовательность, исключавшая всякую дипломатически любезную мягкость и возможность уклончивости, невольно ставила Сергея Юльевича в ситуацию оправдывающегося.

– Поверьте, господин Шифф, в моем лице вы видите абсолютного сторонника еврейского равноправия. Русское правительство много делает для постепенного смягчения этой острой проблемы. Но равноправия невозможно достичь в одночасье. Пока стомиллионное русское крестьянство не имеет равных прав, невозможно говорить о равноправии для евреев...

– Господин Витте, еврейству дела нет до положения ваших крестьян. Мы считаем несостоятельной всякую политику постепенного устранения тяготеющих над еврейским народом ограничений и ждем немедленного уравнивания в гражданских и религиозных правах как дела чести и справедливости.

– Но... примите во внимание, господин Шифф, в стране, где нормы нравственности и само оправдание самодержавной власти основываются на христианстве, нельзя признать равноправной религию, отрицающую Христа и имеющую черты расовой исключительности...

– Свобода совести, господин Витте, есть одно из фундаментальных прав человека, и соблюдение этого права является обязательным для любой страны, желающей оставаться в семье цивилизованных государств. Черта оседлости, до сих пор сохраняющаяся в России, – это позор не только для вашей страны, это позор и унижение для всего мирового еврейства, и мы сделаем все, что в наших силах (а в наших силах многое), чтобы освободить вашу страну и самих себя от этого позора.

– Но черта оседлости не распространяется на сорок процентов евреев, и более того, она легко переходима для всех, кто...

– Если бы черта оседлости касалась и одной десятой процента, мы точно так же вступили бы и за одну десятую. Мы не торгуем нашими людьми. Нам дорог каждый еврей, господин Витте, и мы будем бороться за достойную жизнь для каждого.

– Эта пресловутая черта не мешает ни финансовой, ни культурной, ни экономической деятельности евреев, – уже с некоторым раздражением сказал Витте. – Вы же не будете отрицать, что, несмотря на ограничения, в России в руках еврейства оказались практически все банки, вся печать...

Теряя терпение, Шифф резко остановил русского премьера.

– Господин Витте, я не пришел с вами спорить. Прошу вас передать вашему правительству: если царь не даст еврейскому народу те свободы, на которые он имеет право, то революция сможет установить республику, через которую те свободы будут достигнуты.

– Вы угрожаете нам революцией? – растерянно спросил Сергей Юльевич, и его бесстрастное лицо дипломата залилось краской негодования.

– Мы вас предупреждаем.

Это заявление финансового магната прозвучало настолько императивно жестко и откровенно угрожающе, что, пожалуй, впервые в жизни Сергей Юльевич не нашелся что ответить и только развел руками.

Нисколько не смущенный Шифф с достоинством откланялся, и делегация удалилась. А у Сергея Юльевича после этого разговора еще долго оставалось в душе нечто вроде отрывки, как после дурно сваренного обеда, и каждый раз, когда пред ним вдруг спонтанно всплывало красивое, благообразное, со смеющимися глазами лицо Шиффа, он невольно морщился, как от зубной боли.

Мир с Японией оказалось заключить гораздо проще, чем с финансовыми олигархами Америки. Никто не ожидал, что японцы, претендовавшие и на весь Сахалин и Курилы, и на возмещение всех военных расходов Японии, и на выдачу русских судов, укрывшихся в нейтральных водах, и на то, чтобы не держать России флот на Дальнем Востоке, и на много чего еще, вдруг неожиданно для всех приняли русские условия без единой поправки. Это быстрое соглашение, несовместимое, казалось бы, с недавними победоносными действиями японской армии, означало только одно: маленькая Япония, несмотря на все финансовые вливания Америки и Англии, конечно же долго не могла тягаться с гигантом-Россией, выдохлась, и только заключение мира спасло ее от финального поражения. Условия мира оказались столь малопредпочтительными для Японии, что глава японской делегации Комура вынужден был уйти в отставку, а в самой Японии после подписания договора разразилась буря негодования и протестов, даже траурные флаги вывешивали. Территориально мы уступили только южную часть Сахалина, и

эта царская уступка была скорее подарком не японцам, а Рузвельту, страстно желавшему хоть чем-нибудь ублажить японцев.

После заключения мира показывали русскому министру американскую жизнь во всей красе, и многое удивляло Витте. И дурной, но дорогой стол, от которого пришлось в первые же дни приезда лечить желудок и сидеть на жесткой диете, и обед без скатерти на приеме у президента Рузвельта, и простые нравы у молодежи, позволявшие девушкам уходить чуть не до полуночи с молодыми людьми на прогулки. Поразило его и то, что американские студенты, ничуть не шокируясь, служили летом в ресторанах и гостиницах. (О, если бы нашему студенту предложили подобную сомнительную службу! За подобное предложение можно было бы получить и по шее. Ибо наш дикий, но гордый студент скорее умрет от голода, нежели пойдет в лакеи!) Но больше всего потрясло Витте даже не это. Спрашивал он у американских профессоров: возможны ли у них такие политические беспорядки в университетах, как в России, и что бы они сделали, если бы такое случилось? Долго не понимали, что он имеет в виду. А когда поняли, даже растерялись. Да для чего же устраивать беспорядки, когда студенты пришли учиться?! Да если бы такое немыслимое дело свершилось, сами студенты выбросили бы зачинщиков немедленно из университета вон!

Вот оно, оказывается, как в демократической стране! Воистину мы еще во всем азиаты!

Вернувшегося «со щитом» Витте царь наградил, возведя его в графское достоинство, правда, злые языки тут же окрестили его в насмешку графом Полусахалинским.

Что касается российского общества, оно по-прежнему негодовало. Оно негодовало по поводу войны, негодовало и по поводу мира. Оно негодовало теперь онтологически и перманентно, по принципу – что бы ни делало «это» правительство, все ужасно, потому что Россия с «этим царем», с «этим правительством», с «этим режимом» никогда не будет Европой, а только тюрьмой народов и мировым жандармом.

10

Государь Николай Александрович никогда не забывал, что родился в день памяти святого Иова Многострадального, и часто думал об этом на протяжении всего скорбного своего пути. (Даже Аликс, когда становилось слишком тяжело, называла его: «мой бедный Иов».) Предсказаний о его мученическом пути было много. Эти предсказания начались давно, смолоду, когда, еще будучи наследником, совершая полукругосветное путешествие на Восток, он оказался в Стране восходящего солнца. Встреченный буддийскими монахами с необыкновенным пиететом и преклонением, услышал юный Николай от известного, почитаемого всей Японией отшельника монаха Теракуто совершенно невместимые слова о своем будущем, которые могли бы показаться нелепой фантазией, если бы часть пророчеств не исполнилась буквально через несколько дней. Речь шла о смертельной опасности, нависшей над его головой.

– Но смерть отступит, – говорил монах, – *и трость будет сильнее меча... и трость засияет блеском.*

Что это за трость и отчего она засияет, открылось скоро. Некий фанатик-японец неожиданно ударил наследника саблей по голове, удар, скользнув, не причинил серьезной раны. А греческий принц Георгий, путешествовавший вместе с Николаем, не растерялся и изо всех сил ударил бамбуковой тростью преступника, чем спас жизнь наследника от повторного нападения безумца.

По возвращении Николая в Петербург император Александр Третий попросил на время эту трость и вернул ее греческому принцу, осыпанную бриллиантами.

Возможно, это мгновенно исполненное пророчество должно было обратить внимание Николая и на последующие прорицания, сказанные ему монахом.

Страшные и необыкновенные слова говорил Теракуто, огнем выжигая их на сердце наследника, – о великих скорбях и потрясениях, которые ждут его, будущего царя Николая, и его страну, – называя его «небесным избранником и великим искупителем за народ свой»...

– Ты будешь бороться за ВСЕХ, а ВСЕ будут против тебя... Настанет время, что ты – жив, а народ – мертв, но сбудется: народ – прощен, а ты – свят и бессмертен... И друзья и враги преклонятся пред тобою. Враги же народа твоего истребятся... Вижу огненные языки над тобой и семьей твоей. Это – посвящение. Вижу бесчисленные священные огни в алтарях пред вами... Это – исполнение. Да принесется чистая жертва и совершится искупление. Станешь ты осиянной преградой злу в мире... – И много, много еще говорил из того, что было открыто ему в Книге Судеб...

Но как принять это сердцем и разумом молодому, исполненному сил, любви и надежд человеку, еще только начинавшему жизнь, – с недоверием, трепетом, страхом?.. Да, пожалуй, экзотическая речь японского монаха вскоре и забылась за прелестью многих беззаботных и счастливых дней, пока новое пророчество не ожгло сердце.

Уже не юношей-наследником, но молодым царем и отцом встретил Николай Александрович новое грозное предупреждение. Знали в семье Романовых о завещании вдовы Павла Первого императрицы Марии Федоровы, заповедавшей день в день ровно через сто лет после кончины мужа открыть особый ларец, хранившийся в одной из комнат гатчинского дворца с пророчеством монаха Авеля. Тот день наступил двенадцатого марта тысяча девятьсот первого года. Из царскосельского дворца в Гатчину отправилась веселая чета: император Николай Второй и императрица Александра Федоровна. А вернулась – задумчивая и печальная... и не раз приходилось впоследствии слышать ближним царя странную фразу: «До восемнадцатого года я ничего не боюсь...»

«На венец терновый сменит он корону царскую, – писал Абель, – предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Война будет, великая война, мировая... Измена же будет расти

и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю...» И еще, и еще, да все жутче и беспощаднее... Захолонуло сердце. Да что же это?.. Да неужели?.. А ведь все предсказания монаха дотоле сбылись. И день и год кончины прапрабабки Екатерины, и страшная смерть самого Павла, и сожжение французами Москвы, и добровольный уход с трона Александра Павловича, и убийство Александра Второго... Неужто и о нем сбывается?

Шестого мая – рождение царя. День памяти святого Иова Многострадального...

А тут и третье слово о нем подоспело. От самого пресветлого батюшки Серафима. Уж как не хотел прославлять батюшку Серафима Синод! Да и отчего бы это? «Слишком много чудес!» – ответствовала комиссия. Да что за странная причина? А еще? Мощи не оказались нетленными... Дважды отклоняли просьбу Николая, и только на третий раз повелел им царской своей волей: «Немедленно прославить!» Смирились.

И вот Дивеевская обитель. Народу сошлось, съехалось – сотни тысяч! Среди лета Пасху запели, как и предсказывал батюшка Серафим. Царь со сродниками-князьями гроб с мощами на плечах несет, а вокруг тысячи, тысячи падающих как срезанные колосья в умилении сердец на колени с зажженными свечками и – тишина благоговейная, неземная, и – радость на сердце невместимая! Так и слышится ласковый батюшкин голос, обращенный к каждому: «Радость моя!...» Вот оно, сретение царя и народа, о котором всегда тосковало сердце царево. И как хорошо, что никого здесь нет из «прогрессивно мыслящих» – ни социалистов-партийцев, ни надменных всезнаек студентов и профессоров, ни пересмешливых, иронично подмигивающих журналистов. Только единый духом народ православный, только царь его и святой их.

Кабы и всегда так, в таком бы ладу и мире жить! Да средостение, день ото дня пухнувшее меж царем и народом, куда деть?

«Будет некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и его самодержавия, но Бог царя возвеличит». Эти слова, сказанные батюшкой еще императору Александру Первому, государь знал, а вот чего не знал, чего и представить себе не мог, так это – обращенное к нему лично письмо, собственноручно написанное батюшкой Серафимом: «четвертому государю, который приедет в Саров», запечатанное простым хлебным мякишем.

Получил письмо – задрожали пальцы, вскрывая затвердевшую хлебную печать. А как прочел – зарыдал Николай Александрович и никому содержание того письма не открыл.

Придворные утешали: батюшка хоть и святой, а может и ошибаться, но государь плакал безутешно.

И еще была тогда же встреча с блаженной Прасковьей Ивановной.

Пашу Саровскую почитали святой, и все великие князья пожелали с ней свидеться, но она оставила только царя с царицей, а все удалились.

– Садитесь, – говорит им блаженная. А сесть-то и некуда, все стулья из кельи вынесли пред посещением множества гостей высоких, на полу только ковер постелен. – Садитесь на пол.

Опустились на ковер. И вот стала им Прасковья Ивановна все говорить, что потом и исполнилось: и про гибель России, и про гибель династии, про разгром Церкви и про море крови...

Их Величества ужасались, и государыня уже клонилась к обмороку.

– Я вам не верю, этого не может быть! – восклицала она.

А было это за год до рождения наследника, и они очень молились батюшке Серафиму и Богородице о даровании им сына. Тут Прасковья Ивановна достала кусок красной материи и говорит:

– Это твоему сынишке на штанишки. Когда он родится, поверишь тому, о чем я говорила вам.

Последние слова Прасковьи Ивановны были такие:

– Государь, сойди с престола сам!

Содрогнулось цареве сердце.

Но до этого оставалось еще долгих пятнадцать лет!

Нет, царь Николай не стал спорить с Богом, как Иов Многострадальный, не стал вопиать: за что, Господи?! Но с этого времени стал считать себя уготовленным на крестные муки и позже говорил не раз: «Нет такой жертвы, которую бы я не принес, чтобы спасти Россию». Хотя по-человечески порой и молился: «Да минует меня чаша сия!» И надеялся: а вдруг минует, вдруг Господь отложит суды Свои и переменит пророчества святых Своих?..

Через год после саровских торжеств родился у них с государыней наследник-сын. Долгожданное, многочаемое, вымоленное дитя. Не было слов благодарности Богу за эту милость, без конца служили благодарственные молебны, не уставал еженощно со слезами благодарить! А через сорок дней возникло у младенца первое кровотечение, и ужас объял родителей.

Гемофилия!

О Господи, как страшно посещение Твое! «Ибо ужасное, чего ужасался я, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне...»

И все грознее обступали беды. Вдруг – война. Ненужная, нековременная (а разве бывает война – ко времени?), без единой победы, так же внезапно и оборвалась, как началась. И было впечатление, что только наконец всерьез замахнулись – и... замах повис в воздухе. Расстаяла нелепая война, как сон дурной, будто и не было ничего. Только над флотом Российским сомкнулась морская пучина да десятки тысяч русских солдат заснули на сопках Маньчжурии вечным сном...

И провокация «кровавого воскресенья» хлестнула больно, никто не понимал, не было такого, чтобы сотни тысяч со всех концов – с требованиями к царю: «Повели исполнить, а не то!..» А что «исполнить»? Да читали ли они, эти несчастные толпы, что вписали за них хитроумные, коварные, чужие толкатели на разрыв народа с царем? Да знали ли, кто невидимый идет с ними рядом, прячась за спины их, за святыни их, кто, хохоча и кривляясь, ведет всех их в обрыв?

Стрельбой в народ – словно перерезали меж них пуповину и по разные стороны кроваво разодрали, развели с царем. Зарекся царь после девятого января; никогда не хватило духа проливать народную кровь. После Ходынки, после девятого января... Иов, Иов Многострадальный... Не мог, не смел поднять руку на свой заплутавший, соблазненный бесчисленными иудами народ.

И убийства... одно за другим... пять тысяч политических убийств за несколько лет! И – стрела в самую сердцевину – великий князь, сын Александра Освободителя, дядя Сергей! Кто же следующий?.. И жили в Царском Селе как в затворе. Царь, запертый в своем дворце. Уже и прогуливаться по саду небезопасно стало... Да царствует ли он в своем православном царстве? Да православное ли оно? В Сарове знал, что да, а в Петербурге?..

И вот зрела мысль... великая... страшная... Оставить престол *самому*. Как повелела Паша Саровская... Быть может, этим подвигом жертвы царя-помазанника Господь переменит судьбу страны?.. Оставить. Передать наследие сыну... Назначить регента... Вернуть патриаршество России. И по примеру Феодора Романова – отца первого царя новой династии – стать патриархом... Мучился-лелеял эту мысль. Примерялся к подвигу. Принять монашество в тридцать шесть лет, оставить несравненно, навеки любимую, без которой и дня немыслимо прожить, супругу!.. И она согласна! И она все понимает. Дорогая Аликс!..

В конце зимней сессии собрались синодалы.

– Известно мне, что и в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества, – сказал Николай. – Я много думал и изучал этот вопрос. Значение патриаршества на Руси во все времена, а наипаче в годы великой смуты междоцарствия – огромно. Думаю, что для России, переживающей ныне новые смутные времена, патриарх и для Церкви, и для государства необходим. Может быть, вы уже наметили между собой и кандидата в патриархи?

Вопрос был столь неожиданным, что митрополиты растерялись. Разумеется, разговоры и даже кой-какие надежды на восстановление патриаршества были, но никакие имена вслух не произносились; казалось, преждевременно и произносить – и вдруг!..

– Ну а что, если, как я вижу, кандидата себе вы еще не наметили или затрудняетесь с выбором, что, если я предложу его вам сам?

– Кто же это, Ваше Величество?

– Не угодно ли вам принять в кандидаты меня?

Как громом пораженные, стояли митрополиты, потупившись, не зная, что отвечать. И каждый из них не надеялся ли услышать из уст государя вдруг свое имя? А теперь, стыдись, тупили головы за свою невольную, прельстительную гордыню.

Так провиденциально и промолчали.

Значит – тому не бывать. Значит – чашу сию пить. Господи, помоги!..

А с пролития подданными царской крови уже ничего не стало страшно подданным царским. Убийство Александра Освободителя словно развязало всем будущим бомбистам руки. И общество с облегчением вздохнуло: наконец-то стало *морально* позволено убивать. Убили, и – ничего, общество даже *понимающе заулыбалось*. Конечно, *это* правительство не могло не огрызнуться повешением виновных (хотя многие великие, и Лев Толстой в том числе, взывали бомбистов простить!). Но вешают исполнителей, а мозг, а вдохновители и организаторы – целехоньки и на свободе, даст Бог, разделяются и с Николаем Последним! И ничего сакрального в царском звании нет. Обычный, из мяса и костей, человек, среднего ума и ничтожных достоинств, а почему-то управляет гигантской страной, да мы лучше сумеем, у нас во-он какие европейски образованные умы! Сам Павел Николаевич Милюков, например, ученик Ключевского, между прочим, историк и основатель партии кадетов, или Александр Иванович Гучков, образованнейший, храбрейший и богатейший, из московских предпринимателей, да мало ли? Вот кого надо в правительство, да чтобы правительство было ответственно не перед пешкой-царем, а перед всенародно избранной думой! А дума чтобы была не совещательная, как хотел схитрить царь (вишь ты, народу, мол, мнение, а царю решение, как бы не так, это ведь когда было, при царе Горохе!), а законодательная, как в свободной Европе! («Мнение» – нам, и «решение» – нам же! А ты, ежели хочешь еще пожить, согласишься на декор!) И чтобы всем политическим – немедленно и категорически полную амнистию и революцию до победного – продолжать! И чтобы все, какие ни есть на свете свободы, немедленно предоставить! И чтобы, главное, все постановления газетчиков – исполнять! А войска и казаков из столицы вон, и чтобы впредь – не сметь себя защищать!

Рвали, рвали из царских рук власть. Живя как у Христа за пазухой и не ведая, как шапка Мономаха тяжела и что не по Сеньке шапка. Но все сеньки уверяли себя и друг друга, что и они шиты не лыком и в два счета управятся с Россией, а не управятся, так, перефразируя классика, России ли провалиться или чтобы мне во власть не сходить? И выходило: провалиться России.

Для чего столько пророчеств? Не для того ли, чтобы царь за многие лета сумел очистить и смирить душу свою и приготовить ее для подвига жертвоприношения? А до сего предначертанного креста исполнять свой царский долг по совести. А долг царский еще и в том, чтобы не давать ворах расхищать власть.

Народу мнение, а царю решение. Многовековая формула русской власти.

«Да отчего бы не дать конституцию России? – сердился Витте. – Когда общество настойчиво требует ее вплоть до революции! Когда все страны идут этим путем! Когда участие во власти народного представительства неизбежно, как неизбежно и ограничение царской власти!»

Народного?... О, если бы народного!.. И это роковое... ограничение власти... И ты уже не вполне хозяин земли Русской. А кто хозяин? Многомятежная, переменчивая, амбициозная, жадная, вненациональная, ненавидящая и презиращая Россию интеллигентская толпа, сладкоголосно называемая парламентом?

И у самодержавного царя есть ограничение своего самодержства. Ограничение волей Божией. Ограничение ответственностью пред Богом. Будет ли такая ответственность у думы? Чем будут руководствоваться партии в своей борьбе? Не амбициями ли, не гордыней, не упрямым ли легкомыслием мнений? А хуже того – корыстью? А еще хуже – предательством интересов России? Да неужто отдать страну на растерзание межпартийных склок? И разве решение, принимаемое одним человеком, хуже принимаемого толпой? И один человек может ошибиться, но и толпа не застрахована от ошибок. Но один – отвечает пред Богом, а у толпы нет ответственных, нет виноватых... Хозяин радуется обо всем хозяйстве, а временщик...

Нынче ранняя осень. За окном Александровского дворца чернеют голые деревья. Кружатся последние листья... Смеркается.

Царь стоит у окна, смотрит на опустевший, безмолвно застывший парк, ждет.

Вчера дядя Николаша заявил, что застрелится, если Николай не примет проект Витте о свободах. Конечно, вздор. Что застрелится. Но... где же выход? После заключения мира с Японией рассчитывали на примирение с *обществом*, по крайней мере, на передышку. Но *общество* словно сошло с ума: от желторотых гимназистов до епархиальных барышень и от умудренных профессоров до светских дам – на улицах, шествиях, в газетах, в салонах, ресторанах, концертах, на митингах, в школах, университетах, дома, в гостях, на банкетах – все безмысленно вопило: да здравствует Учредительное собрание и долой царя! И на бесчисленные забастовки кем-то насильственно сгонялись сотни тысяч рабочих, и остановка общей работы парализовывала жизнь страны.

А выхода было всего два: военная диктатура или... виттевское дарование свобод.

11

Глебушка хорошо запомнил этот день, восемнадцатое октября тысяча девятьсот пятого года. Как обычно, он встал в половине восьмого утра, позавтракал с мамочкой и Павлом (отец в это утро лежал с простудой, и ему принесли завтрак в постель) и отправился в гимназию. По дороге он зашел к приятелю Володе Антонову, с которым учился в одном классе. Володя был сыном присяжного поверенного и часто рассказывал Глебушке разные, ужасно интересные, услышанные от отца уголовные истории. Вот и сейчас он встретил Глебушку с видом тайного заговорщика и, округлив глаза, в нетерпении ожидал поразить товарища своей новостью.

– А ты знаешь, что у нас теперь в стране? – спросил он приятеля, выходя из калитки и дожевывая на ходу булку.

– Что? – не понял Глебушка.

– Эх ты!.. Что же это, у вас газет утренних не читают?

– Почему? Отец читает...

– Стало быть, ты уже знаешь, что у нас теперь конституция!

Глебушка остановился. Он знал это слово, о конституции часто говорил отец как о чем-то недостижимо прекрасном, что сразу же сделает всю нашу жизнь если и не вполне райской, то почти. На этом замечательном постулате, однако, его политические представления заканчивались, и он наивно спросил:

– Что же, у нас теперь не будет царя?

– А зачем он, если конституция? – важно проговорил Володя. – Теперь все будет по закону.

– А разве раньше было... не по закону?

– Ну... понимаешь, раньше, может, и по закону, зато не было свободы. А сейчас... захочу – пойду в гимназию, а не захочу... – Володя засмеялся. – Не пойду! И никто не имеет права заставлять!

– Ну, это уж ты врешь! И при конституции надо будет учиться!

– Да пусть учатся дураки, а я все равно в революционеры пойду.

– В революционеры – это хорошо. У меня старший брат революционер, – сказал Глебушка с гордостью. – Он сейчас знаешь где?

– В тюрьме?

– На поселение отправили.

– Здрóрово!

– Да. Только мама все время плачет, – вздохнул Глебушка. – Жалко ее.

– Женщины вообще... ничего не понимают.

– Смотря какие. У моего брата жена, например, тоже революционерка. Они в тюрьме поженились.

– Здрóрово! – повторил Володя. – Это я уважаю. А у меня знаешь что есть? Картинки...

– Какие картинки?

– Ну... с голыми женщинами.

– Врешь!

– Не вру! Хочешь – покажу.

Глебушка помолчал, преодолевая соблазн.

– А где ты их взял? – спросил он, уклоняясь от прямого ответа на заманчивое предложение.

– У брата. Там, знаешь... – И Володя, хихикая, что-то зашептал ему в самое ухо. – Обхо-хочешься! Приходи.

Они дошли до ворот гимназии. Во дворе кучками стояли старшекласники и о чем-то возбужденно спорили. Странно, но на урок никто не спешил, словно и впрямь, по Володиному слову, наступила свобода и учеба теперь зависела исключительно от пожелания самих учеников.

Мальчики вошли в вестибюль. Он был украшен красным кумачом (когда успели?), и на нем тоже вырисовывалась сакраментальная надпись: «Да здравствует конституция!». Повсюду сновали взволнованные учителя, и на груди у большинства из них болтались какие-то красные тряпочки в виде бантов или розеток, столь быстро нацепленных, будто заготовленных заранее. Общее возбуждение нарастало. Первоклашки таращили глаза, переводя их с учителей на старших, мало что понимая в происходящем, зато старшие из всех сил старались переживать исторический момент, чувствуя себя причастными к чему-то необыкновенному, что может изменить всю их дальнейшую жизнь.

Наконец всех пригласили в актовый зал, и директор, тоже с красным бантом, поминутно вытирая лысину, срывающимся голосом торжественно поздравил учащихся с царским манифестом, провозгласившим долгожданные политические и гражданские свободы. В честь великого события уроки отменялись и учащихся распускали по домам праздновать победу.

Разумеется, все гимназисты, освобожденные от занятий, закричали «ура», но домой никто не пошел, а разрозненной толпой отправились в центр города. На Караваевской встретили студентов, спешащих, так же как и гимназисты, в сторону Крещатика. Во главе тысячной демонстрации шли университетские профессора, и среди них и ростом, и всей мощной фигурой выделялся Глебушкин отец Тарас Петрович Горомило.

– Смотри, смотри! – толкнул товарища в бок Володя, указывая глазами на Глебушкиного отца.

А он и сам уже видел и удивлялся, как это только что лежавший с температурой отец оказался во главе колонны и тоже с чем-то красным, прицепленным к пальто.

Лицо Тараса Петровича сияло нездешним восторгом, он шел быстрым, уверенным шагом, раздувая ноздри, его мощная грудь разрезала воздушное пространство, как корабль волны, устремляясь вперед к одной ясно видимой ему и блистающей впереди цели. И Глебушка не посмел подойти к такому героического вида отцу, напоминавшему ему сейчас не то древнегреческого Ахилла, не то Спартака, не то самого Зевса – кого-то величественного и для простого смертного недоступного. Они с Володией пристроились сбоку, теряясь в рядах студентов, стараясь быть незаметными для «громовержца», но «громовержец», и увидев их, не обратил бы на них никакого внимания, погруженный в грандиозность свершающегося на их глазах потрясения основ.

В центре древнего Киева творилось что-то невообразимое. Казалось, весь город вышел на улицы и, пасхально облобызавшись, мгновенно оделся в кумач. Мелькали красные юбки, красные шарфы, красные розетки, красные платочки, красные цветы, с балконов свисали красные ковры, в воздухе реяли красные флаги. На недоуменно столбенеющих полицейских набрасывались со смехом и, празднично примираясь, пытались нацепить и на их презренный мундир красный символ свободы, а они конфузливо отворачивались бормоча:

– Господа, что вы делаете? Не положено, господа...

Да как же не положено, когда свобода! И господа с веселым, беззлобным гоготом шли дальше, пьянея от всеобщего дерзкого веселья, от того, что никто с этого дня не смеет нанести свободной личности никакого вреда – ни этот полицейский, ни начальство, ни сам добровольно ограничивший себя царь!

Но на это жизнерадостное, бескорыстное, детское веселье стала вдруг накидываться словно бы какая невидимая черная тень, в легкомысленное веселье толпы будто плеснули гнилыми помоями, и ее радужно светящиеся нотки стали прорезывать совсем иные, мутные и озлобленные. На остановившиеся трамваи взбирались какие-то люди и, размахивая кумачом,

что-то выкрикивали, словно выплевывали в толпу, беспощадно-ругательное и угрожающее, и ничего нельзя было разобрать, кроме одного настойчивого и все покрывающего требования «долгой!».

«Да зачем же теперь „долгой“, когда всем такая свобода и радость?» – еще добродушествовала толпа. Кого теперь-то «долгой!», когда сам царь отвесил полной мерой своему народу чаемые свободы слова, собраний, совести и прочее, и прочее, и прочее... Когда царь обещал думу! Совет с лучшими, выбранными из народа людьми! И не только совет, но и послушание ей! Ибо без думы и закона теперь царю уже не принять! Вот как добровольно умилился себя царь! И за это ему полное «ура!», а не «долгой!».

Ан нет! Его-то, оказывается, и долой! Ибо он-то и есть первейший враг и злодей! И обманщик! А все свободы – для видимости! Для пускания пыли в глаза! И потому мы все равно требуем! И чтобы немедленно! Учредительное собрание! И всем политическим скорее возвратиться домой!

А-а-а! Вот оно что!.. Значит, царская свобода – для бомбистов?.. Так, значит, приходится понимать, что испугался царь?..

А какой-то человек, появившийся на думском балконе, вдруг ухватился за царскую корону и стал остервенело отрывать ее от решетки. Наконец ему удалось осуществить задуманное. Подняв высоко, он водрузил себе царскую корону на голову и, кривляясь, закричал:

– Теперь я царь!

Потом снял с головы и, плюнув на нее, швырнул вниз. Корона грохнулась наземь и покатилась по каменной мостовой. Многотысячная толпа одновременно ахнула и на мгновение замерла, и в этой жуткой тишине вдруг раздался истошный бабий вопль:

– Жиды сбросили царскую корону!..

С молчаливым ужасом приняла этот вопль толпа и ответила сдержанным возмущенным гулом.

А на думский балкон выскочил другой, маленький, всклокоченный человек и что есть силы завопил:

– Люди добрые! Жиды изорвали все царские портреты! Смотрите! Что они делают! Глаза! Императорам российским! Ножам! Православные! Да куда же вы смотрите!

Толпа взревела и бросилась в думу.

Конная часть, до сей поры в оцепении стоявшая в стороне и не мешавшая изъятию народной радости по поводу конституции, наконец очнулась и, стараясь не допустить эксцессов, стала теснить в сторону негодующих граждан, желавших прорваться в думу для справедливого отмщения. Тогда из самой думы прогремело несколько выстрелов по военным. Военные встрепенулись и дали несколько устрашающих залпов по думе. Толпа стала разбегаться. Успевшая прорваться в думу часть народа была потрясена устроенным в ее стенах шабашем. В актовом зале все портреты российских царей и императоров были сорваны со стен, изорваны в клочья, у многих выколоты глаза, а на некоторых были оставлены человеческие испражнения. Участники царского погрома куда-то успели испариться, и ворвавшаяся толпа, не найдя предмета для выплеска своей ярости, устремилась из думы к окраинам Киева, где проживало еврейское население...

Военные сдерживали разбушевавшиеся «конституционные» страсти как могли.

Вечером папочка, как обычно, громыхал речами. Глебушка сидел притихший, не сознавая, что тоже участвовал в «праздновании конституции». Елизавета Ивановна уже давно ни в чем не перечила мужу, сознавая всю бесполезность словопрений, Павел также не возражал отчиму, памятуя матушкину фразу о смирении. Из домашних главе семейства смела противоречить только одна их старая кухарка Авдотья, прислуживавшая еще девчонкой батюшке Тараса Петровича, отцу Петру. Подавая вечером ужин, она не переставала бурчать под нос насчет «жидов», которые совсем обнаглели, и надо же! Один такой наглец посмел напаять на

свою наглую рожу царскую корону! (Авдотья тоже была в тот час у городской думы.) И что же это они себе позволяют! Эдак они и в самом деле, что ли, мечтают захватить власть над Россией, один, мол, так и кричал: теперь мы будем вами править! Мы дали вам Бога, дадим и царя! И куда это смотрит наш царь-государь? И прочее свое глупое, деревенское, бабье.

Тарас Петрович, питавший слабость, как и большинство русской интеллигенции, к угнетенному еврейскому племени, не выдержал и на этот раз обратил весь свой праведный гнев на представительницу всегда защищаемого им простого народа.

– Вы, Авдотья Никитишна, – назвал он ее по имени-отчеству и на «вы», что делал только в исключительных случаях наивысшего недовольства старой кухаркой, – живете в интеллигентной семье, а тоже городите черт знает что! «Жида! Жида!» – передразнил он Авдотью. – И слово-то какое мерзкое придумали – «жиды»! Чем это вам «жиды» насолили?!

– Дак как же, батюшка, их называть, когда они жиды и есть? Я, положим, русская, кацапка, с-под Курска, а они – жиды, уж не знаю, откуда такие явились. Бабы на базаре говорили – с самого, мол, Польского царства, еще при матушке-Екатерине. Уж на что умная была государыня, а тут маху дала, проморгала. На кой ляд нам были эти поляки да жиды!

– Наитёмная вы женщина, Авдотья Никитишна! – задрожал от гнева профессор. – Другому с такими мыслями я бы и руки не подал, а с вас – что взять. Коснейте в своем невежестве. Вот он, наш простой русский народ, о котором мы все так печемся! Глядите! Прimitивус петикантропус!

– А ты, Тарас Петрович, – назвала, в свою очередь, Авдотья профессора на «ты», – больно-то не заносись, чай, сам-то не княжеских кровей, батюшка-то твой отец Петр всю жизнь лаптем щи хлебал, даром что поп.

Такой дерзости Тарас Петрович не смог простить даже представительнице простого народа.

– Авдотья! – крикнул он, выходя из себя. – Замолчи сейчас же! Старая ты дура! И не смей в моем присутствии рассуждать! Тупая твоя голова!

– Мне что... – отвечала будто и довольная такой отповедью кухарка. – Мое дело – господ накормить... А что жиды царя спихнуть хотят, так это вам каждый на базаре скажет...

Прищурившись, Глебушка через стол смотрел, как плавилась и ярилась папочкина круглая лысая голова, как заалели маковым цветом щеки профессора и покраснел нос, как собрались на лбу бисеринки пота и задрожал подбородок, как возмущенно подпрыгивало на переносице золотое пенсне и уже разевался, как у выброшенной из воды рыбы, готовый к гневной отповеди рот... Ой, что сейчас будет!.. И Глебушка зажмурился. Но Тарас Петрович, так и не найдя истребительных слов для сей негодной старухи, только махнул рукой и, выходя из-за стола, от всего сердца швырнул салфетку.

Брат Павел, едва сдерживая улыбку, тупился в свою тарелку. Мамочка терпеливо делала вид, что ничего особенного не происходит. И только Авдотья, убирая посуду со стола, не могла сдержать ехидной своей и победительной ухмылки.

* * *

А в эти же дни Лева Гольд писал из Одессы своему товарищу в Петербурге:

«...Говоришь, подлецу Трепову удалось не допустить беспорядки в столице? Что ж, за это ему не миновать свинцового подарка от наших товарищей. У нас не то, революционная Одесса не подкачала. Университет забастовал с начала сентября, профессора все (почти) были за нас (один даже передал на самооборону сто пятьдесят пистолетов!). А тем (единицам), кто осмелился быть против, объявляли полную обструкцию и прогоняли из аудиторий. На сходки сбегалось столько публики, что приходилось устраивать по несколько в день, чтобы все поучаствовали. Эсер Тэпер (из наших, ты его должен знать) сказал выдающуюся речь про-

тив самодержавия. Да и другие тоже. А в октябре прекратили занятия вообще все учебные заведения, включая гимназии. Причем желторотые гимназисты оказались самыми большими радикалами – ха-ха!.. Собрали колоссально денег на вооруженное восстание. А восемнадцатого октября, в день объявления Манифеста, дурак Каульбас приказал войскам не высовывать носа на улицы, чтобы дать возможность беспрепятственно порадоваться населению. Тут уж мы на свободе порадовались вовсю! Представь: наши поймали дворнягу, нацепили ей на голову „царскую корону“, а к хвосту приладили триколор! Собака бегала как ненормальная и мела русским флагом одесские улицы. Наши смеялись до упаду, а у тех только морды багровели. Тут же производили сбор денег „на избиение царя“, а в думе изорвали большой портрет Николашки. С проезжающих на панихиду священников сбивали шапки, а уж городовым от нас досталось – будут помнить! Многих поколотили, а кого и совсем отправили на тот свет. Не удалось, правда, вечером заставить рабочих объявить забастовку, пробовали даже стрелять в них, но их было больше, и они разогнали наших. А на следующий день вышли толпы рабочих, к которым привязывалась всякая дрянь с портретами Николашки, флагами, иконами и „Боже, царя храни“. Недалеко от Соборной площади наши стреляли и убили какого-то мальчишку, несшего икону. Вообще наши стреляли из-за каждого угла и очень удачно, так что поубивали многих, ну и, конечно, тут уж они рассвирепели и начался погром...»

* * *

А в Петербурге в это же самое время Сергей Юльевич Витте также раздражался до крайности.

Дал ему царь Николай полный карт-бланш на проведение реформ, поверив, что долгожданные свободы принесут наконец мир и успокоение в стране. Да Витте и сам в это верил свято. Общество жаждало вступить на европейский конституционный путь – ну хорошо, слава Тебе, Господи, убедил царя, вступаем, чего ж вам еще?

А еще, на другой день после манифеста, развязно требовали приглашенные к Витте газетчики: удалите войска! Объявите немедленную амнистию политзаключенным! Отмените смертную казнь бомбистам! Иначе забастовки взорвут всю страну, и вообще, если угодно знать, студенты повсюду уже собирают деньги на гроб Николаю Второму!

Глаза у новоиспеченного премьер-министра все больше округляются, дрожит подбородок, он почти задыхается от неслыханной наглости пришельцев, которым только что чуть не заискивающе подавал руку, и, путаясь, не находит правильных слов:

– Г-господа... Дайте же мне передышку... помогите... Царь добровольно уступил... Будем же благодарными...

– Никакой передышки царскому правительству не дадим! И никакой благодарности от нас не ждите. Мы вообще не верим никакому вашему правительству! Пока не удовлетворите законные требования революционного народа, ни одна из газет не выйдет! И чтобы немедленно господина Трепова из генерал-губернаторства взашей!

Боже мой, да кто же это громче всех распаляется? Проппер! Издатель «Биржевки» Проппер! Невесть откуда явившийся в Петербург голодранец, которому он, Витте, всячески способствовал и помогал!..

– Вы обезумели, господа... Я всегда стоял за евреев... но это... невозможно... – пробормотал бледный Сергей Юльевич. «Ступайте вон!» – хотелось заорать премьер-министру, затопать ногами, запустить в развязно стоявших перед ним господствующих представителей прессы графином. И еще грознее, и еще пронзительнее: «Немедленно! Все вон!» Но он сдержался и только бессильно и совсем тихо произнес: – Я вас больше не задерживаю, господа.

Презрительно переглянувшись, господа откланялись и с нескрываемым чувством превосходства удалились.

«Надо стрелять!.. Надо всех стрелять... надо вешать!» После ухода газетчиков Витте сидел, зажав ладонями виски, и в его либерально-демократической голове впервые засверлила спасительная мысль о необходимости антиреволюционного насилия.

А в Москве, как и в других городах империи, в это самое время проходили всерадостные банкеты, на которых шумно и вдохновенно праздновалась победа прогрессивных сил над исчерпавшим себя, гнилым самодержавием. Главного бенефицианта, умнейшего Павла Николаевича Милюкова, председателя партии кадетов, прибывшего из северной, зыбкой столицы в хлебосольную, любвеобильную, праздно-сытую, вседовольную Москву, качали усердно, так что у качавших мужей вспотели лбы и подмышки, и, изрядно подустав, качавшие поставили его на стол и приказали говорить победительную речь.

Павел Николаевич откашлялся и, взглянув на товарищей вприщур из-под очков, ошарашивающе заявил:

– Господа, я считаю, никакой победы нет и праздновать еще рано.

Пронесся общий вздох, похожий на стон.

– Ну да, самодержавие отступило, – продолжал также, умно прищурившись, профессор истории, – но оно еще крепко сидит на троне. И хотя трон зашатался... Впрочем, пусть он стоит. Без трона, господа, в этой стране нельзя. Но контроль над троном... – Тут Павел Николаевич еще раз хитро взглянул из-под очков на единомышленников, застывших в ожидании завершения сакраментальной мысли их лидера. – Контроль над троном должен быть в руках... народа. В наших руках, господа!

Что тут поднялось! Кричали, хлопали, топали и снова качали. Контроль над троном понравился всем. Контроль над троном означал, что вот все тут собравшиеся – присяжные поверенные, адвокаты, профессора, журналисты и издатели, чиновники и прочая образованная публика – наконец-то станут выше царя!

– Да здравствует законодательная дума! – закричал кто-то из банкетствующих.

– Да здравствует партия кадетов! – подхватили голоса. – Да здравствует Павел Николаевич Милюков, ура!

Павел Николаевич все еще стоял на столе и, щурясь и раскланиваясь во все стороны, улыбался грядущему неминуемому контролю над троном.

* * *

Царский манифест яблоком раздора разделил страну на две неравные части: тех, кто рвался сокрушить Русское государство, и тех, кто, как мог и умел, пытался его защитить. Вторых было больше. Несоизмеримо больше. Пока больше. С хоругвями, с иконами, раздраженный неслыханными наглými оскорблениями, стрельбой и убийствами, шел простой народ против тех, кто оскорблял, унижал и порочил его тысячелетние святыни, его веру и любовь ко Христу, – против всех революционеров – разрушителей Отечества. И так было не только в Киеве и Одессе, так было по всей стране. И это было началом гражданской войны, той разгромившей национальную Россию войны, которую inferнально накликал спустя десять лет Ульянов-Ленин.

Миллионы против сотен. Большинство против меньшинства. Но эти миллионы еще не знали, что приходит время торжества всякого рода меньшинств. Что меньшинство возьмет в недалеком будущем верх и начнет невиданный в истории духовный и телесный террор над побежденным большинством.

Эти миллионы простых (черных) людей, выступившие в защиту святых своих идеалов, назовут себя черносотенцами, а противники их сумеют сделать так, что это имя навсегда станет в глазах общества позорной кличкой, и когда русский человек не побоится признать себя любящим Родину патриотом, тут же ему и влепят за это пулей в лоб: «черносотенец» тире

«погромщик»! (А чуть позже, потом, «шовинист!», а потом наконец и «фашист!».) Это будет означать то, что в «приличном» *обществе* вам не подадут руки.

Так отучали (и отлучили) русских людей от любви к Богу, Царю и Отечеству.

12

Меж двух озер, Бородаевским и Паским, на высоком холме стоит чудо – белый монастырь в честь Рождества Богородицы, в пятнадцатом веке основанный сподвижником Кирилла Белозерского преподобным Ферапонтом, да через сотню лет Дионисием с сыновьями всего за месяц расписанный. А меж двух озер синим лебедем плывет пасхально-радостная, с белыми лилиями да желтыми кувшинками нарядная речка Паска. Бережки песчаные – заходи, бери воду хоть человек, хоть скотинка, пей-купайся. Впрочем, для питья источник святой от самого преподобного сохранен, еще и вкуснее, целебнее. Напротив монастыря, на другой стороне Паски, селцо небольшое, тихое. А вокруг – поля, луга, леса нетронутые, безграничные, со всеми дарами Божиими: птицей, зверьем, ягодой... Стоит себе градом Китежем, раем земным пять веков Ферапонтово, а сколько раю тому на земле стоять, про то один Господь ведает.

Вот в какую глушь несусветную сослала Наденьку с ее молодым супругом – еле добрались. На Покров снег, как уж исстари полагается, выпал, да в день и растаял, одна каша в пути. Вспоминались Наденьке европейские дороги мощеные, ухоженные, жаловалась Петру, что все внутренности у нее растрясло, хоть выходи из телеги да пешком топай – меси пудовую грязь. А солдат, что их сопровождает, как ни в чем не бывало, покуривает, с мужичком-возчиком про какую-то свою «жисть» беседует, ничего не понимают темные, что за их счастье бьются такие, как Наденька, светлые головы, – ох, тоска! Но Наденька не унывает и она – как солдат революции – везде на боевом посту! И напроочь дремучих пробует просвещать, да только слишком отстал народ (вздыхает: не навсегда ли?) от передовых звездных мыслей.

Приехали!.. Огляделись на невзрачное место. Унылая пора – поздняя осень, ни то ни се, голо, пасмурно, сыро. Да светит ли когда здесь и солнышко? И у кого ж тут избу чистую, чтобы без клопов да тараканов, снять? А вот у самого доброго хозяина Матвея Васильича, вон их дом, аккуратно за северной оградой монастыря, где все батюшки местные проживают, Поповка и называется.

Ну, слава Богу, хоть изба порадовала. Просторно, чисто. Печка русская на полкомнаты жаром пышет. Половички пестрые домотканые, стол вышитой скатертью покрыт, лавки по стенкам выскобленные. В красном углу иконы потемневшие (ну, это лишнее!). Кровать новая, городская, металлическая, с горкой подушек, белым покрывалом застеленная... «Ой!» – спохватилась вдруг Наденька, кровь прилила к щекам. Кровать-то одна! Как же они с фальшивым мужем Петром спать станут? Иль у хозяйки спросить еще матрасик? Да ведь стыдно и спрашивать такое! Как это, подумают, муж с женой врозь спят? О-о! Вот еще непредвиденность! Надо с Петром посоветоваться, а впрочем... Петр ждет не дождет своего часа, влюблен по уши! Что уж теперь, сама напроказила – венчаны! Да и Петруша... такой симпатичный, такой милый... А Натан?.. А Натан – это святое. Это на всю оставшуюся жизнь. В светлом *потом*.

Так и порешила Наденька: с Петром, так уж и быть, как положено мужу и жене, временно спать, а Натан Григорьевич – за пределами суетного сего жития, это – святое, сокровенное, на веки вечные.

И покатались дни. Сперва медленно, а потом все быстрее, все шибче. И не так уж уныла стала казаться в Ферапонтове с молодым мужем жизнь. Даже весело. Нестарая хозяйка – красивая Наталья кормила сытно, вкусно, прибирала комнату чисто, улыбалась ласково. Наденьке и пожаловаться грех: молодые спали, гуляли, пили, ели да похваливали. Сам хозяин ни во что ихнее не мешался и жил молча. Детей – помехи молодым – не было, о чем хозяйка, не скрываясь, скорбела.

В ноябре снег лег плотно. Ударили ранние морозы, наладился санный путь. Раз в неделю ездили за пятнадцать верст в Кириллов отмечаться в полиции – все развлечение. А потом и с кирилловскими ссыльными завели дружбу – еще веселее. То Наденька с Петром к ним нагря-

нут, то новые знакомцы – сюда: чаи пьют, газетные новости обсуждают да мечтают о революции. А если уж совсем станет скучно, идут к местному батюшке, отцу Валериану, послушать его деревенские байки да покушать матушкиных пирогов с капустой, да грибами, да рыбой (отменно пекла попадья!).

– И как это вы, отец Валериан, можете верить в бессмертие души, воскресение Лазаря и прочую подобную чепуху! – обычно начинал свою пропагандистскую беседу со священником Петр.

– Так ведь, батюшка мой, – отвечивал поп, лукаво поглядывая на своих новых прихожан (Наденька с Петром иногда заходили от скуки на пять минут в храм), – человек может веровать в любую глупость. Хотя бы и в ту, например, что Бога нет. А как мы не только веруем, но и знаем...

– Да как же вы можете это знать? – вскипал Петр. – Наука! Наука бессильна доказать бытие Божие! А вы говорите: знаю!

– Наука – бессильна... это верно. А Бог силен являть Себя и такому немощному и грешному сосуду, каковым является сотворенный Им человек.

– Вы имеете в виду себя? – съехидничал Петр.

– «Вкусите и видите, яко благ Господь», – сказал царь Давид псалмопевец. Значит, Господа можно, как бы это... вкусить. Познать... Да-с. Опытно. Каждому в принципе возможно... Но Наденьке неинтересно богословствовать, и она перебивает батюшку:

– А что, отец Валериан, не скучно вам в этом медвежьем углу?

– Мне скучать матушка моя не дает да поповны. Пятерых Бог послал. Всех замуж поотдавать, а у кого на суженого нет судьбы, ту на монастырские хлеба определить. Слыхали, поди, Синод повелел снова у нас монастырь открыть. Женский. Уж и мать-настоятельница из Леушинского к нам прибыла, а с ней сестры.

– Патриарх Никон у вас тут, что ли, в монастыре отбывал срок? – спросил Петр.

Батюшка погладил бороду и не спеша ответил:

– Да вот, батюшка мой, пришлось и патриарху нашему по злобе сатанинской страдание здесь принять. Видели остров каменный в виде креста посереде озера, нет? Ну, как снег сойдет, поглядите. Своими ручками низложенный патриарх десять лет камни на себе таскал, в озеро на лодке свозил. Больно уж прогневал он Алексея-то Михайловича, царя Тишайшего.

– Так вы считаете, Никон был прав?

– В чем?

– Ну-у... – замялся Петр. – А из-за чего у них весь сыр-то-бор?

– Это долгий разговор, из-за чего сыр-бор... А только я так понимаю, если бы не Никон, был бы у нас в России и посейчас патриарх.

– Это почему? – удивленно вскинула бровки Наденька.

– Превзойти захотел, – вздохнул отец Валериан. – Саму государеву власть. Оно-тко, конечно, власть духовная превыше всего на свете стоит. Однако же и Господь сказал: «Царство Мое не от мира сего». Не властвует Христос над царями мира сего грешного, и Сам для Себя отверг власть мирскую. А патриарх Никон именно ее-то и возжелал. Пока царь во младенцах ходил, послушно под уздцы в неделю Ваий осляти водил, а на осляти Никон во образе Самого Христа восседал. Вот она, симфония-то, на краткое время и вознеслася на небеси осанной. А как возмужал царь, горько ему стало Никоновы причуды, да ругательства, да гордыню, да властолюбие терпеть. Видано ли дело, патриарх сам своей волей с Московского патриаршего престола сошел, а другого выбирать – не смей! И есть патриарх на Руси, и нет его – вот диво! А как собрал Алексей Михайлович Собор в одна тысяча шестьсот шестьдесят шестом году решить спор, так греки соединенно с нашими митрополитами единогласно Никона и осудили, из патриаршества и священства извергли, а вопрос о приоритетах полностью решили в пользу

власти светской, царевой, значит... Хоть и не без корысти суд свой произвели, однако уж с тех пор так.

– А почему вы говорите, если бы не Никон, то у нас и сейчас был бы, по-вашему, патриарх?

– А кто был наследником Алексея Михайловича, помните?

– Кажется, Федор... – Петр вопросительно взглянул на Наденьку.

– Феодор, сынок его от первой супруги, раненько скончался. Как соловецкую братию, не пожелавшую новую обрядность принять, по его приказу за ребра, яко овечек, на крюках подвесили, так и помре. А после него братец его Петр Алексеевич, по прозванию Великий, что от другой жены, Натальи Кирилловны Нарышкиной, царствовал. Так?

– Ну так...

– А как вы думаете, нужен Петру Великому какой-нибудь еще патриарх, который стал бы власть делить да за первенство власти с царем бороться? Оно, положим, такие Никоны раз в сто лет рождаются, но уж тут царь обезопасить себя захотел. И не только себя, но и царскую власть вообще. От любых попользований будущих Никонов. А посему патриаршество взял да своей царской волей, ничтоже сумняшеся, и упразднил! Уж хорошо ли, нет ли – судите сами. Вот, милостивые мои государи, и весь вам мой сказ, – заключил батюшка и громким голосом воззвал: – А что, матушка Марья, готовы ли твои пироги? Мы уж тут, чай, с молодыми оголодали!

Вошла румяная, круглая матушка с подносом.

Отец Валериан взглянул на разносолы и вседовольно произнес:

– Оханьки! Опять, матушка моя, каяться в гортанобесии искушаешь!

– Кушайте, кушайте во славу Божию. Сейчас нет поста, кушайте, – улыбалась попадья.

Отец Валериан благословил трапезу. Петр и Наденька, не перекрестив лба, быстренько усадились за стол. Матушка, украдкой вздохнув, вышла из комнаты.

– Я, отец Валериан, как вы понимаете, не признаю ни царя, ни Церкви, – сказал Петр, набивая матушкиным пирогом рот. – Один удав съел другого, вот и все. Я имею в виду Никона и Алексея.

Отец Валериан быстро взглянул на Петра, и в глазах его впервые промелькнуло что-то похожее на скорбное осуждение.

– Как вы, однако, выражаетесь... смело.

– Я, знаете ли, поклонник Руссо, – продолжал Петр с туго набитым ртом, не замечая батюшкиного осуждения, – и считаю, что человеку не нужны подпорки в виде богов. Я лично держусь того мнения, что человек от природы добр, а все зло – это, извините, от условий жизни. Мы, социалисты, боремся именно за изменение условий. А нас за это, изволите видеть, ссылают! Казнят! Вы находите это справедливым?

– Вот вы, молодой человек, говорите, что о народе страждете, атеизмом да социализмом его просвещаете, а того не ведаете, что народ наш одной только верой и жив, только ею вот уже тысячу лет и спасается. Отнимите у него веру – тогда берегитесь! И сами пропадете, и народ погубите. Да только ведь простой народ вас все равно отвергает. Сколько уж и до вас тут приезжало... всяких. Народ наш в Бога пока что еще, слава Тебе, Господи, верует, и хоть грешит порой, тяжко грешит, но кается и в идеале своем правду Божию взыскует.

– Ничего! – бодро воскликнул Петр. – Тьму народного невежества мы развеем, а вас, батюшка, упраздним. А насчет вашего «греха», то уж, извините меня, я этого не по-ни-маю! Вот в чем лично я должен каяться? Или вот она? Застращали людей грехом. Опутали их, словно сеть. Вот бедный человек барахтается в сетях и вопит: грешен, батюшка, признаю, грешен! Только выпусти меня на волю, я тебе в чем хочешь покаюсь!

– Сколько вам годков, Петр... простите, как вас по батюшке?

– Двадцать один... Почти. Какое это имеет значение?

– Да так... вспомнилось. Иоанн Васильевич в семнадцать на царство венчался, Михаил Федорович в шестнадцать государем всея Руси стал... а вы-с всё в игрушки играть изволите.

– Вы, конечно, не обижайтесь, отец Валериан, – вступилась за обиженного супруга Наденька, – но у нас на женских курсах тоже никто в Бога не верит. Это даже как-то странно...

– Без веры-то жить, милые мои, нельзя. Во что-нибудь да ведь и вы веруете?

– В социализм! – выпалили, не сговариваясь, оба супруга и, взглянув друг на друга, рассмеялись. – В революцию! В прогресс!

Ну что на это скажешь? Запечалилась, заскорбела душа у попа. Что же это с Россией будет, ежели такие учителя у нее завелись? Ежели такие-то неразумные учить ее станут? А похоже, к тому все идет. Ох, не дожить бы!..

А Наденька с Петром тоже ушли от отца Валериана недовольные, и как-то оба сразу решили: больше к попу не ходить. Ну его, мракобеса!

Быстро пробежал медовый месяц. В конце ноября получила Наденька тайные известия из Петербурга и ночь целую не спала: то плакала, то смеялась. Петр терзался, не знал, что и думать. А наутро объявила ему Наденька, что немедля собирается и едет в Петербург.

Ошеломленный супруг умолял объяснить, что случилось. Наденька сперва не хотела ничего говорить, но потом взяла да и выпалила. В Петербург, мол, приехал Натан Григорьевич, они вместе с Троцким и другими товарищами Совет рабочих депутатов утвердили и власть у царя хотят окончательно отобрать, а потому Наденьке оставаться здесь никак невозможно, а нужно срочно доставать лошадей и на крыльях любви лететь в столицу.

– А как же полиция?.. – растерянно спросил Петр.

– А что полиция? – пожала плечами Наденька. – Ну скажешь им что-нибудь.

– Что сказать?

– Ну не знаю... придумай. Что я ушла гулять и не вернулась. Волки в лесу съели! – И Наденька весело захохотала.

Петр замолчал. Молча смотрел, как Наденька, что-то напевая, собирала вещи.

Наконец потерянно спросил:

– Что же, ты меня теперь совсем оставляешь?

Наденька перестала петь, глянула на Петра исподлобья, а потом бросилась его целовать.

– Петечка! Миленький! Ну ты же понимаешь, это всего только шутка! – жарко зашептала она.

– Что – шутка?.. Я же люблю тебя...

– Ну, Пе-тя-я... – капризно протянула Наденька.

– И ты... говорила, что... любишь...

– Ну, глупенький... Ну да, конечно, люблю. Но я тебе уже сто раз объясняла... Это все равно все понарошку! Просто так. Чтоб веселее! Понимаешь? Ах, какой ты у меня еще маленький и глупенький! Ты что это?.. Ты что, Петечка, плачешь?.. Вот еще новости! – И Наденька надула губки.

– Если ты уедешь... я застрелюсь! – выдохнул Петр.

А Наденька, вконец рассердившись на разнюнившегося «супруга», хотела уже выкрикнуть: «Ну и стреляйся!» Но вид у Петра был такой несчастный, что она невольно вдруг его пожалела и, вздохнув, предложила:

– Ну, если хочешь, поедem вместе... Только, ты же понимаешь, я все равно уйду от тебя к Натану Григорьевичу!

Бежать из ссылок в царские времена было легко. И среди тюремщиков, и среди охранников-солдат, среди всех, кто так или иначе соприкасался с осужденными, всегда находились члены партий эсеров, эсдеков или на худой конец кадетов да и просто душевно сочувствовавшие революции. Бежали единично, и малыми группами, и даже десятками человек. Бежали за границу, а многие оставались нелегалами здесь же, в России, меняя по нескольку раз паспорта.

Документы доставали легко, а теперь, при завоеванных свободах и правах личности, и совсем стало несложно отбиться от никуда не годящейся власти.

Увы, как ни торопилась Наденька в Петербург, как ни спешила на свидание с дорогими ее сердцу товарищами, она опоздала. 3 декабря был арестован весь цвет Совета рабочих депутатов, руководимый прославленной тройкой: Парвусом, Троцким и Носарем. Чашу терпения правительства переполнили газетные публикации (а Парвус с Троцким беспрепятственно издавали полумиллионные тиражи) с призывом отрезать у правительства источник существования – финансовые доходы – и популярно объясняли, как это сделать. Более того, они прямо объявили царское правительство банкротом и призывали население к немедленному изъятию собственных вкладов, требуя выдавать деньги золотом. Началась паника, грозившая уже всамделишным финансовым кризисом. Этого уже даже и наилояльнейшие к революционерам власти, только что объявившие всевозможные свободы (печати, митингов и собраний) для своего упразднения, переварить не смогли, засадили всю компанию в «Кресты» и повели законное следствие.

Временно приютившие нелегальных супругов, сбежавших из Ферапонтова поселения, друзья помогли им обзавестись необходимыми документами, и Наденька сразу же отправилась в тюрьму знакомиться с Львом Давидовичем и узнавать новости о Натане.

Троцкий оказался совсем молодым человеком (всего-то двадцати шести лет от роду, а уже европейская знаменитость, уже вождь!) с шапкой густых темных волос (почти красавец!). Наденьке он показался страшно интересным и сразу понравился. Он был прекрасно, даже элегантно одет, в белоснежном воротничке и манжетах. Обилием цветов камера напоминала салон, на столе – масса книг, газеты, рукописи и красивые коробки конфет, кокетливо перевязанные ленточками, – подношение поклонниц. Вот и Наденька пришла к Троцкому с букетом и коробкой шоколада. К нему вообще шел нескончаемый поток. Петербургская публика спешила засвидетельствовать молодому страдальцу свое почтение и благодарность за сумасшедший яд публикаций, впрыскивающих в их вяло скучающие головы порции взбадривающего адреналина. «Пролетариат не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста!» Ну разве можно было не прийти в восторг от подобных пассажей? Припечатал так припечатал! Обыватели рвали газеты из рук и с упоением обглаживали развязные строчки журналиста, радуясь, как лихо надавали по шапке властям эти ничего не боящиеся умницы-социалисты.

Навещали Троцкого в узах и свои товарищи, и иностранцы, и, разумеется, интеллигентные женщины, и даже дамы из общества. Вот и сейчас Троцкий был не один. В полоборота к Наденьке на стуле сидела красивая молодая женщина, едва ответившая на Наденькин поклон кивком головы. Впрочем, она тут же стала прощаться, и они с Троцким о чем-то тихо переговаривались у дверей.

Проводив даму, Троцкий обратился к Наденьке:

– С кем имею честь?..

– Меня зовут Надежда Ивановна Перевозщикова... я сейчас по фальшивому паспорту... – прибавила она доверительно и мило улыбнулась. – Сбежала из поселения. И прямо к вам.

– Вот как? – Троцкий взглянул на нее с симпатией и тоже улыбнулся. – Похвально.

– Я приятельница Натана Григорьевича... – Наденька произнесла эти слова со значением, словно пароль. – Я хотела бы знать...

– Натана Григорьевича?.. Натан Григорьевич сейчас в Москве и, кажется, пока еще на свободе.

– Правда? – засияла Наденька. – Ах как вы меня обрадовали! Я немедленно, сегодня же отправлюсь в Москву!

– Таки сегодня? – снова по-товарищески улыбнулся ей Троцкий. – Не боитесь слежки?

– Ах, я ничего не боюсь! – воскликнула Наденька и простодушно взглянула на Троцкого своими голубыми, по-детски распахнутыми глазами. – И вы ведь тоже ничего не боитесь?

Лев Давидович усмехнулся.

– Царское правительство обречено, – сказал он веско и поглядел затуманенным взором вдаль. – Оно безвольно и дряхло, трусливо и недееспособно. Оно давно утратило энергию действия и не имеет в самом себе силы властвовать. Оно слишком зависит от общественного мнения, желая всем угодить, а общественное мнение создаем мы. В этом их роковая ошибка. Чем больше они уступают, тем сильнее мы на них давим. Они не понимают, что мы не удовлетворимся никакими полумерами, никакими уступками, никакими улучшениями. Наша цель – захват власти! Когда власть будет в наших руках, мы не станем считаться ни с чем. Мы будем жестко проводить ту политику, которую сочтем нужной для удержания и завоевания мировой власти, невзирая ни на какие *мнения*. Мы и сами *мнения* упраздним. Вы спросите, а как же завоеванная свобода? На это я отвечу, что свобода – вздор. Никакой свободы не существует. Тот, кто это понимает, способен властвовать. Сильно и мощно, беспощадно к врагам. Властвует тот, кто сильно желает власти, а мы – умеем желать! Нам не страшны ни ссылки, ни виселицы, ибо, захватив власть, мы сами сошлем и повесим всех, кто посмеет нам возражать. А хотите анекдот? – неожиданно спросил Троцкий. – Представьте, вчера утром является ко мне сам начальник тюрьмы и, краснея и ежась от неловкости, сует мне мою книгу и просит подписать. «Для дочерей, – конфузливо объясняет он, – дочери-курсистки, узнав, что вы тут, умоляют... что тут поделаешь, уж подпишите, будьте добры». Подписал. Причем нагло так. Таким-то девицам с уверенностью в победе над прогнившим царизмом и прочее. Он прочел и – представьте – даже не поморщился. А я ему и говорю: «А вы скажите вашим дочерям, пусть они придут ко мне в камеру, я с ними с удовольствием побеседую». Старик чуть с ума не сошел от радости, целоваться полез, еле отбил. Ну и как вы думаете, на чьей стороне сила?

– Я передам ваши слова Натану, – сказала Наденька, благоговейно скрестив руки на груди.

– Натан и сам это знает. Все наши партийные разногласия – не в целях, а в тактике борьбы, – продолжал Троцкий. – Вы что-нибудь слышали о перманентной революции?

– Ну так... в общих чертах... – слукавила барышня и покраснела.

– А я вам скажу конкретно. У нашей революции не будет конца.

– Как?.. – распахнула глаза Наденька.

Троцкий загадочно улыбнулся.

– Россия – это только первая ласточка, Надежда Ивановна, наш эксперимент, если угодно – наш первенец! А дальше по этому пути пойдут пролетарии всех стран. Завоевание пролетариатом власти не завершает революцию, как ошибочно думают некоторые наши товарищи, а лишь открывает новый ее этап. Ибо социалистическое строительство мыслимо лишь на основе непрерывающейся классовой борьбы в национальном и международном масштабе. Эта борьба будет неизбежно приводить к внутренней гражданской и внешней революционной войне, в которой все хоть сколько-нибудь имущие классы будут истреблены неимущим пролетариатом. Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на мировой.

– Значит, все-таки когда-нибудь завершается? – спросила Наденька с надеждой.

– Да, завершается. После окончательного торжества нового мирового порядка на всей планете.

– И вы уверены, что все так... и будет?

Ах какая наивная! Троцкому даже захотелось потрепать ее по щеке.

– Все будет именно так, милая барышня. Потому что это научно и потому что мы этого хотим! Мировой пожар не за горами!

Неизвестно почему, Наденьке вдруг представился ее отец, его фабрики, заводы, пароходы, его дома, объятые огнем мирового пожара (как была объята огнем помещичья усадьба, в поджоге которой Наденька сыграла столь роковую роль), и ей вдруг стало жаль и отца, и всего, им наработанного, но она, разумеется, ничего не сказала об этом Троцкому и тут же осудила себя за, оказывается, неизжитую в себе проклятую буржуазность. И чтобы окончательно понравиться этому смелому и отважному человеку, отнесшемуся к ней с таким революционным доверием, Наденька прошептала:

– Я тоже этого хочу. И я тоже ничего не боюсь. И я готова отдать за это жизнь.

13

После подавления революции тысяча девятьсот пятого года многие сотни интеллигентов, так или иначе причастных к тем событиям, временно переселились за границу – не столько спастись от преследования полиции, сколько в отдохновении копить силы для новой борьбы и спокойно пережить, пока власти успокоятся и фортуна («феличита») снова повернет к ним свое сияющее лицо. Ехали, как водится, в Париж, в Женеву, в Лондон, но и не только. На географической карте мира появилась новая точка, притягивавшая к себе как магнитом всех мыслящих и прогрессивных, жаждущих грядущего переустройства мира.

Разумеется, сам по себе сказочной красоты остров Капри так и остался бы жить-поживать в своей древней дреме, если бы не поселился на нем великий русский писатель Максим Горький, – и паломники осадили остров.

После декабрьской неудачи девятьсот пятого года (за эту неудачу и всадили пулю в спасителя Москвы генерала Мина бомбисты) отправился Горький с актрисой Андреевой по повелению партии за границу собирать деньги на новую революцию. А заодно отговаривать правительства западных стран давать кредиты царю – душещипательную свободу русского народа.

Европа встретила его восторженно, как жертву и борца против тирании, чем очень расстрогала Алексея Максимовича. «Не давайте денег Романовым на убийство русских людей!» – требовал Горький от немецких, французских и американских банкиров. Американцы писателя послушались. А вот несерьезные французы, не спросив Горького, все ж таки кредиты дали. Алексей Максимович очень разгневался, да так, что выразился совсем даже недипломатично в газетах: «Великая Франция... понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния? <...> Твоим золотом прольется снова кровь русского народа! <...> Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!» Очень сильно выражался Алексей Максимович, когда речь шла о самом дорогом для него и святом деле – революции.

Рассердившись на американцев за то, что они оказались такими несовременными, кондовыми моралистами (святое Папы Римского), – вопрос о гражданских отношениях писателя с актрисой их волновал гораздо сильнее, чем возможность окончательной победы революции в отдельно взятой стране, – и прогневавшись на французов за самостоятельность их решения в вопросах займа, Горький с Андреевой уехали на Капри. Жить и работать. Помогать революции.

Чудный, дивный, благословенный открыточный остров Капри – иссиня-желто-зеленый! Куда ни кинь взор – красота немыслимая, непереносимая (куда там русским березкам!). Так и просятся на перо «Сказки об Италии». И Горький пишет. Много. (Но все в основном о России, только о России! О борьбе!) А Мария Федоровна переводит. Прекрасная жизнь!

Итальянцы встретили Горького с южным страстным восторгом; казалось, вся страна ликует, ошарашенная избранием себя в место жительства трижды прославленного и знаменитого. Где бы ни появлялся писатель – темпераментные, голосистые итальянцы снимают шляпы и поют Интернационал. Трогательно. Поблагодарил в газетах: «Меня глубоко волнуют симпатии, выраженные мне итальянским пролетариатом».

И кто только не перебивал у них в гостях из своих! Шаляпин! Бунин! Станиславский! Плеханов! Дзержинский! Богданов! Ленин!..

С Лениным Горький познакомился недавно и сразу полюбил этого маленького, лысого, картавого, но такого «матерого человечика». И Ленин полюбил Горького, хотя вообще к интеллигенции относился согласно ее достоинству.

– Что у нас есть? – любил повторять Владимир Ильич в гостях, потирая руки и подсчитывая потенциальную революционную силу в стране. – Во-пе́г'вых, во-втог'ых и в-тг'ет'ых – почти вся го́ссийская и даже ми́г'овая печать. А ми́г'овая печать находится в евр'ейских г'уках. Каждый уважающий себя евр'ей является пг'отивником Го́ссийской импе́рии, ибо никогда не

пг'остит чег'ту оседлости и евг'ейские погг'омы, устг'аиваемые цаг'ским пг'авительством. Что еще? Вся интеллигенция и часть наг'ода; все земство, часть гог'одских дум, все ког'пог'ации: юг'исты, вг'ачи и так далее. Нам обещали поддег'жку социалистические паг'тии... За нас вся Финляндия... За нас угнетенная Польша, Кавказ и изнывающее в чег'те оседлости евг'ейское население...

– Еще студенчество, – глядя на Владимира Ильича преданными, влюбленными глазами, робко подсказала Наденька.

Она вместе с Натаном Григорьевичем, как и многие из их партийных соратников, оказалась на Капри. После свидания с Троцким Наденька тотчас отправилась в Москву (бедный Петруша поплелся за ней следом – никак от него не отвязаться!), нашла Натана и прямо подошла к знаменитому Декабрьскому восстанию, подавленному проклятым Мином! Тогда же они познакомились и подружились с Горьким. Вместе покидали толстозадую Россию – «страну рабов, страну господ» (и Петр за ними хвостиком), но в Америку с Горькими не поехали, остались в Европе.

Все последнее время, когда она снова непредсказуемой прихотью судьбы соединилась с Натаном Григорьевичем, Наденька была необыкновенно, светло счастлива. (Петр волочил за ними повсюду в качестве фиктивного мужа, он жестоко и молча страдал от ревности и унижения, но разорвать эти противоестественные отношения был не в силах.) Натан же Григорьевич только пожимал плечами, нисколько не ревнуя и потешаясь над незадачливым супругом. Правда, при первой встрече он задал Наденьке неожиданный и совсем уж нескромный вопрос:

– А признайся, девочка, ты мне изменяла с этим своим дефективным Петрушей?

– Ну-у... Натан... – надула губки Наденька и шутливо набросилась на него: – А ты? А ты?!

– Ладно, ладно, девочка, не сердись, я ведь все понимаю. – И он по-отечески поцеловал Наденьку в головку. (О сыне они оба не вспоминали.)

А Наденька и не сердилась, только таяла от умиления. Она любила Натана, как и всех революционеров вообще, независимо от их пола; любила она сейчас и Владимира Ильича, одновременно невольно скашивая глаза в сторону дымящей папироской Андреевой. И ее, революционную подругу Горького, Наденька особенно любила. (Ах, хороша! А ведь давно за тридцать. И как держится! Королевой!) Наденьке до Андреевой далеко, но она старается запоминать и даже вечером, когда остается одна, копирует ее позы, жесты, интонации. А не пойти ли и ей в актрисы? – мелькает у нее шальная мысль. Ах, хорошо бы!.. Но как же тогда революция? Без нее, без Наденьки?.. Нет, нет, все отбросить! Ничто не сравнится с революцией! Все жертвы – ей! Все для нее! О чем это опять Владимир Ильич?

– Если мы не сумеем воспользоваться нашим истог'ическим пг'еимуществом, гг'ош нам цена, товаг'ищи, – продолжал Ульянов, играя в шахматы с Пешковым. – Вам шах, Алексей Максимович!

– Позвольте, Владимир Ильич... – загудел Пешков. – Мой конь... и моя тура...

– А тепег'ь мат! – счастливо залился смехом Владимир Ильич, потирая руки. – Мат, мат и мат! Если бы мы с вами иг'али на деньги, пг'ишло бы вам, уважаемая Маг'ия Федог'овна, остаться на бобах!.. Кстати, Алексей Максимович, вег'немся к нашим баг'анам. Ваши литег'атуг'ные гоног'аг'ы побивают все миг'овые г'еког'ды. Поздг'авляю! С вашей стог'оны было непг'остительным легкомыслием довег'иться этой политической пг'оститутке Паг'вусу...

– Но, позвольте, Владимир Ильич, мне рекомендовали Парвуса как честнейшего человека, преданного партийца и...

Ильич снова захохотал. Смеялся он таким тоненьким, залихватым, заразительным смехом, что поневоле все присутствующие, глядя на него, тоже начинали улыбаться и посмеиваться.

– Аг’хичестнейший! – заливался Владимир Ильич. – Ук’ал у паг’тии сто тг’идцать тысяч заг’аботанных вами маг’ок!.. Аг’хичестнейший!.. Мы тут посовещались с товаг’ищами и г’ешили пг’едложить вам в литег’атуг’ные агенты нашего хог’ошего дг’уга Натана Гг’игог’ьевича, не возг’ажаете?

– Ну отчего же, Владимир Ильич? Я с удовольствием... Если Натан Григорьевич берется за это дело...

– Бег’ется-бег’ется! – засмеялся Владимир Ильич. – За свои услуги он бег’ет всего двадцать пг’оцентов, шестьдесят пг’оцентов вы будете по-пг’ежнему отчислять на нужды паг’тии, остальное, Маг’ия Федог’овна, вам на булавки! – И Владимир Ильич снова заразительно засмеялся.

Мария Федоровна пыхнула сигареткой и кивнула.

– Пог’азительная у вас супг’уга, Алексей Максимович! Феномен! Позвольте, Маг’ия Федог’овна, вашу г’учку. – И Владимир Ильич с неподдельным чувством приложился к руке возлюбленной Горького.

Мария Федоровна была довольна. Вот уже несколько лет она – гражданская жена великого русского пролетарского (модного и в России, и за границей) писателя. «Не хуже Чехова!» – мстительно думала бывшая актриса Московского Художественного театра. Ее давнее соперничество с Книппер завершилось наконец своеобразной победой. Когда-то она и со Станиславским рассорилась из-за этой некрасивой артистки, которая почему-то нравилась обоим руководителям самого престижного московского театра. Мало того что Книппер доставались все лучшие роли, она не успокоилась, пока не получила в мужа Чехова! И хотя у самой Марии Федоровны был такой поклонник, о котором с придыханием говорили не только в театре, но и по всей Москве, первенство Книппер было нестерпимо! И когда Мария Федоровна на театральном балу получила от Горького в подарок напечатанную поэму «Человек» с надписью: у автора-де крепкое сердце, из которого она может сделать каблучки для своих туфель, – она поняла, что час ее торжества настал. Бедный Савва!.. Савву было, конечно, жаль, но... ведь он все понимает! Он не обидится. Он по-прежнему будет ей верен и покорен и по-прежнему будет давать деньги на... РСДРП. Ну и, конечно, самой Марии Федоровне. И даже выпишет на ее имя страховой билет в сто тысяч на случай своей смерти... Злые языки потом судачили, что, дескать, Савва вовсе не сам в помешательстве ума застрелился, а застрелил его партиец Леонид Красин, чтобы эти самые завещанные Марии Федоровне денежки поскорее в партийную кассу прибрать. Но – кто же это докажет?.. А деньги Мария Федоровна и в самом деле получила и партии отдала. Феномен!

Ни она, ни Горький не хотели разводиться – зачем? У обоих от законных браков было по двое детей (правда, пятилетняя дочь Алексея Максимовича неожиданно умерла, бедный Горький очень плакал!). А Екатерина Павловна и сынишка их Максимка приезжали, очень все подружились, и вообще все складывалось как-то по-домашнему мирно и хорошо.

Ужасно Марию Федоровну сместило, когда Ильич почтительно называл ее «товарищ Феномен», имея в виду, с одной стороны, ее необычайную женскую привлекательность, а с другой, ее преданность партии. Как будто эти вещи несовместимы! Как будто женский ум не способен соединить хорошенькую шляпку с коммунистическими идеями всемирного единения и братства пролетариата!

В один из приездов Ленина Горький читал ему свою «Исповедь», где герой – бывший крестьянин и бывший послушник Матвей, разочаровавшись в религии, решил, что отныне его бог – это пролетариат и что теперь он будет служить исключительно рабочему классу. А находившийся рядом Луначарский тут же и поддакнул, мол, вера в коммунизм должна стать «пятой религией» передового класса. Разумеется, Ленин сразу же поставил обоих на место, заявив, что нельзя придавать научному коммунизму статус религиозного опиума, а долг пролетарского писателя вообще заключается преимущественно в том, чтобы пополнять револю-

ционную кассу. (Разумеется, сказано это было в самой ненавязчивой и шутиливой форме, так что Горький даже и не обиделся. Хотя в другом месте и в другое время Ильич жестко требовал от своих соратников: «Тащите с Горького сколько можете!»)

Вот и теперь Горькому захотелось прочесть близким друзьям свой новый рассказ.

Рассказ подходил к концу, Горький прослезился.

Все уже знали эту особенность великого писателя, и никто не попенял ему за излишнюю для революционера слезливость. («Над вымыслом слезами обольюсь», – сказал поэт, и кто ему возразит?) Только Владимир Ильич с одобрением заметил, что рассказ Горького «аг’хиталантлив!», и велел Марии Федоровне его тотчас же перевести на немецкий, французский и итальянский и, пока есть на Горького спрос, поскорее «в печать! в печать!». (А денежки соответственно – «в паг’тийную кассу»!)

После чтения вся компания отправилась на купания.

Выросшие на Волге Владимир Ильич и Алексей Максимович были отличными пловцами. Натан же Григорьевич плавать не умел совсем и только ходил взад-вперед по пляжу и время от времени мочил в изумрудной воде ноги, да собирал ракушки. Мария Федоровна лежала в шезлонге в модном полосатом костюме и дымила папироской. Наденька пристроилась у ее ног, влюбленно изучая манеры и повадки революционной львицы.

Долговязый Горький вылез из воды и плюхнулся рядом с Андреевой, не удержался, поцеловал ножку.

– Подумайте только, на всех языках говорит! – в который раз восхитился Алексей Максимович.

– А где сейчас Троцкий? – спросила Наденька Горького. (Она и сама говорила по-немецки и по-французски и не особо позавидовала в том Андреевой.) – Вы с ним, кажется, друзья?

– Троцкий? Лев Давидович? Слышал, будто теперь в Вене, издает газету.

– Какое счастье, что ему удалось бежать из Сибири! – воскликнула Наденька.

– Кажется, он собирался написать об этом книгу.

– Правда? Расскажите, Алексей Максимович! Это так интересно!

– Один наш «истинный патриот» из журналистов – представьте, есть еще и такие – как-то сказал, что российская тюрьма – это разошедшаяся бочка, из которой вытекает все ее содержимое. При всей моей ненависти к «истинным патриотам» в этом он абсолютно прав. Не бежать при нашей халатности, разгильдяйстве и вороватости может только ленивый. Нет худа без добра, как говорит русский народ. Слава нашим национальным порокам!

– Действительно, – подтвердила Наденька. – Бежать очень даже просто. Мы, например, с Петрушей просто сели в сани и за два дня прекрасно доехали до самой Вологды, и никто нас не остановил! Правда же, Петя?

Петр встрепенулся и, обрадованный обращенным к нему вопросом, хотел было тут же поведать честной компании свои впечатления от побега, но Наденька опережающе закрыла ему рот:

– После, Петечка, после.

– Весь фокус в том, что у Троцкого в собственных ботинках был запрятан новый паспорт и деньги, – объяснил Горький. – А с деньгами в нашей преподобной Расеюшке тебя из самого ада вытащат и до Европы в лучшем виде доставят!

– А где же, Алешенька, Владимир Ильич? – обеспокоилась Мария Федоровна. – Что-то он долго... не утонул бы! – Андреева поднялась с шезлонга и стала смотреть на море вдаль.

– Во-он он! Видите, Мария Федоровна? Во-он его голова, видите? Это он!

Все выстроились у кромки воды и стали смотреть на горизонт.

– Назад! Он уже назад! – закричала Наденька.

И в самом деле, точка стала приближаться и вскоре обернулась – тут уже все увидали – лысиной Ильича. Лысина выныривала из волн все чаще, становилась крупнее и наконец Ленин вышел из пены морской, как некогда греческая богиня любви Афродита. На берегу не удержался и шаловливо обрызгал Натана Григорьевича с ног до головы водой, на что Натан Григорьевич отозвался коротким взвизгом, а все засмеялись.

– Аг'хипг'екг'асно! – воскликнул Ильич, растирая свое неспортивное тело полотенцем.

– Владимир Ильич, да что же вы нас пугаете, мы уж переволновались с Марией Федоровной.

– Когда мы возьмем власть в свои г'уки, Наденька, долго уже не поплаваешь!

– Да отчего же, Владимир Ильич?

– А кто будет буг'жуев г'асстг'еливать?

Все рассмеялись.

– Найдутся желающие, Владимир Ильич, – прогудел Горький. – Хоть бы и Троцкий.

– Тг'оцкий? – прищурился Ильич, одновременно прыгая на одной ноге, пытаясь вылить воду из уха. – Эта политическая пг'оститутка?

– А вот и нет! А вот и не проститутка! – заступился за товарища Горький.

– Алешенька, Владимир Ильич шутит, – улыбнулась Андреева доверчивому простодушию писателя.

К товарищам подошел Натан Григорьевич и высыпал перед дамами ракушки.

– А вас, товаг'ищ Натан, я назначу Мог'ским министг'ом!

Все снова весело засмеялись и громче всех Наденька и даже захлопала в ладоши.

– А я буду морская министерша! Если Мария Федоровна позволит. – И она метнула лукавый взгляд на прекрасную революционершу.

Мария Федоровна великодушно кивнула. Сама она давно уже назначила себя начальницей всех ныне существующих и будущих театров России.

– Я тут, Владимир Ильич, разные письма получаю, – продолжил Алексей Максимович важный разговор, когда они уже поднимались после купания в горку на горьковскую виллу к обеду. – Много пишут о наших горе-агитаторах. Представьте себе, один такой агитатор собрал в Москве на фабрике рабочих, много говорил, раздал оружие и заявил: это оружие должны, мол, рабочие употребить для завоевания политической свободы. Когда, мол, наступит вооруженное восстание. И что отказаться теперь они не могут, так как все переписаны и понесут ответственность. И что вы думаете? После его ухода рабочие почесали затылки, пошли к хозяину за расчетом и – разъехались по деревням! Как вам это понравится?

– Как, как вы говог'ите? Пег'еписаны? Г'азъехались по дег'евням? – И Владимир Ильич залился детским смехом. – Таких агитатог'ов надо вешать!

– Вот и Раппопорт говорит: стрелять! Он, знаете ли, придумал отличную вещь! Предлагает создать здесь, на Капри, школу революционной техники для научной подготовки пропагандистов...

– Пг'екг'асно!

– Отсюда подготовленная молодежь будет отправляться во все концы России на фабрики, заводы, в деревню, в армию для пропаганды революции.

– А деньги? В нашем паг'тийном деле пег'вое дело – деньги.

– Деньги есть, Владимир Ильич, и еще будут.

– О, ви есть хитг'ый буг'жуй! – погрозил пальчиком Ленин Горькому. – Откуда у вас капиталы, пг'изнавайтесь!

Горький развел руками.

– В России, к счастью, много богатых людей, желающих перемены строя, Владимир Ильич.

– И не только – поблагодаг'им Боженку – в Г'оссии, Алексей Максимович! А вы, батенька мой, все г'авно пишите, пишите и пишите! И пьес, пьес побольше! Еще одну «На дне» сочините! Чего вам стоит? Оч-чень актуально! Деньги, батенька мой, лишними не бывают! Это еще Каг'л Маг'кс в своем гениальном бестселлег'е «Капитал» сказал!

15

Тарас Петрович Горомило, выбранный в Первую Государственную думу от кадетской партии, со всем семейством переехал на временное жительство в Петербург.

Петербург Тарас Петрович не любил. Ему, малороссу, тяжёлый был и вечно «сопливый», как он выражался, климат, и равнодушно-вялый характер жителей столицы. Не хватало благодатного солнышка, южного «благорастворения воздушных», живых, всерадостных эмоций. Впрочем, эмоций как раз хватало. С первого же дня, дня открытия думы, эмоции били через край.

Царь открывал Первую думу со всею торжественностью, приличествующей важному историческому событию – новому государственному устройству власти, – и со всем великолепием и красотой старой императорской России.

– Я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага, – отвечал государь на заверения Витте о том, что в лице думцев царь и правительство найдут опору и помощь. – Но я утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени.

Государь не питал иллюзий. Превратить заведомых врагов в друзей самодержавной России – возможно ли это? Но Николай твердо знал, что невозможное человеку – возможно Богу, и надеялся, как всегда, только на Его помощь.

Тарас Петрович, как и другие думцы, впервые оказался в Зимнем дворце. Его великолепие ошеломяло. Как ни старались народные избранники вести себя уверенно и сохранять чувство собственного достоинства, среди невероятной красоты, богатства и роскоши они невольно терялись и робели.

Прием проходил в Георгиевском (Большом Тронном) зале. Громадный зал поражал своими размерами и величием. (Одних беломраморных колонн Тарас Петрович насчитал сорок восемь!) Белые с позолотой стены, огромные, зажженные хрустальные люстры – он весь был пронизан струящимся светом и казался, несмотря на свою величину, воздушным и легким.

К царскому трону под алым бархатным балдахином, увенчанным короной и золотошвейными геральдическими композициями, вел ступенчатый подиум. На троне покоилась императорская горностаевая мантия. А над балдахином взлетал на могучем коне Георгий Победоносец, пронзающий пасть дракона победительным своим копьем, – символ русской победы над мировым злом.

Справа и слева от трона вдоль стен зала отведены места для представителей обеих палат: Государственного совета и Государственной думы. Разделял их широкий проход (почти пропась). Высшие сановники в шитых золотом и усеянных орденами придворных и военных мундирах – справа и разночинные интеллигентские сюртучки, поповские рясы попеременно с крестьянскими «пинжаками» – слева.

Но вот откуда-то издали послышались знакомые и родные еще для многих сердец звуки русского национального гимна. В зал торжественно вошли высокие скороходы в старинных одеяниях, за ними высшие сановники внесли государственные регалии, привезенные из Москвы: государственный флаг, скипетр, державу и сверкающую бриллиантами царскую корону.

Напряжение нарастало. Вдруг (именно вдруг!) быстрой военной походкой вошел государь в мундире Преображенского полка, а вслед за ним проследовали две императрицы в белых сарафанах и жемчужных кокошниках: царствующая Александра Феодоровна, высокая, стройная и – Тарас Петрович смотрел во все глаза, – показалось ему, печальная, с опущенным взором, и вдовствующая, маленькая, приветливая, расточающая улыбки Мария Феодоровна.

В зале наступила мертвая тишина.

Несмотря на обилие воздуха, Тарас Петрович покрылся испариной. Вынуть платок и промокнуть лоб – об этом нечего было и думать, это показалось бы верхом неприличия и даже кощунства, такая благоговейная стояла тишина. Он невольно скосил глаза на собратьев по партии – все стояли сосредоточенно-серьезные и, возможно, тоже, как и Тарас Петрович, покрывались холодным потом.

Тем временем появилась новая группа лиц: не спеша прошествовали великие князья и княгини и наконец, замыкая процессию, фрейлины в русских костюмах и военная свита государя. Обе императрицы и все члены царствующего дома Романовых остановились справа от трона на возвышении, и Тарас Петрович, стоявший в первых рядах, отчетливо видел каждого.

«Вот бы теперь сюда какого-нибудь бомбиста – и всем Романовым бы!..» – мелькнула вдруг неожиданно и совсем некстати шальная мысль, которую Тарас Петрович тут же, даже с некоторым негодованием, и прогнал, настолько неуместна была сия мысль ввиду столь возвышенной даже и для противника монархии минуты.

Он еще раз оглянулся на товарищей, и ему показалось, что подобная шальная идея не одному ему пришла в голову. Вон как, набычившись, стоит глава трудовиков, молодой еще, совсем парень, из рабочих, в черном пиджаке и косоворотке. Этот бы не промахнулся и не разнюнился, как профессор Горомило.

– Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа... – Государь, облеченный в мантию, поднялся с трона. – Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя...

С каждой новой фразой монарха «лучшие люди» исполнялись гордостью и чувством собственного достоинства, так что в принципе в эту самую духоподъемную минуту, казалось, можно было бы даже этому монарху и послужить, если бы... не громко стучавшаяся в дверь старушки-монархии юная дева-демократия, требовавшая эту самую старушку выставить из России, и поскорее, – вон.

– ...Верю, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение отечеству для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещение народа и развитие его благосостояния...

Тарас Петрович заметил, как у одного из великих князей (он не знал никого из них в лицо, потом уже знающие сказали – у Константина Константиновича) потекли слезы. Что ж, царь и в самом деле говорил хорошо и, кажется, вполне искренне. Что касается до нужд крестьянства, так это и у кадетов, и у эсеров записано в программе: землю у помещиков отобрать и отдать крестьянам. Правда, немного свербило сердце, жаль было небольшого именища жены, куда они привыкли каждое лето выезжать на отдых, но Тарас Петрович крепился, старался быть последовательным и готов был пожертвовать даже и жениным имуществом. О чем это он опять говорит?

– ...для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода – необходим порядок на основе права.

Ну, положим, это мы знаем, на чем держится порядок в России: на солдатских штыках да казачьих шашках. Ежели вы, господин Романов, о продолжении таких порядков мечтаете, то, извините, лучшие, выбранные из народа люди теперь вам этого не позволят! И Тарас Петрович орлом оглядел Георгиевский зал.

– Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой счастливым и передать Сыну Моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное...

Что ж, наши горячие желания совпадают. А вот кому достанется Россия в наследство – это еще вопрос!

– Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении с Государственным советом и Государственной думой... Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призывал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа. Бог в помощь Мне и вам.

Царь кончил. Зазвучало справа и слева «ура». Справа – горячее и искреннее, слева – прохладнее и тише. Тем не менее в общем речь думцам понравилась. А величие и великолепие всей церемонии на многих действовало неотразимо. Из царского дворца большинство думцев вышли если не монархистами, то, по крайней мере, на время очарованными монархией.

Это скоротечное очарование держалось недолго. На всем пути от Зимнего до Таврического дворца думцев встречали толпы революционно настроенных граждан, облепивших набережные и мосты Невы, и вместе с арестантами «Крестов», махавших из всех окон платками, все дружно скандировали одно радостное и веселое слово: «А-мни-сти-я!» Это магическое слово как мячик легко перелетало от одной набережной к другой, кружилось в воздухе, туманило пьянящие радужным весельем головы, как будто амнистия бомбометателям и было тем самым главным и неотложным делом, способствующим благу и процветанию государства, о чем только что печалился царь.

Тарас Петрович не пошел на молебен в Таврический, но с ходу вместе с другими радикальными думцами стал обсуждать ответный адрес на тронную речь Николая.

Быстренько выбрав председателем думы московского профессора римского права Муромцева, государевы люди сразу же приступили к государеву делу. Первым выскочил на трибуну заслуженный оппозиционер кадет Петрункевич.

– Долг чести и совести требует, чтобы первое слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод. Господа, вы все знаете и видели только что воочию – народ жаждет амнистии всем политическим заключенным! Мы, как выбранные представители народа, требуем немедленно удовлетворить его законное чаяние!..

Кадета Петрункевича сменил лидер Партии демократических реформ Кузьмин-Караев.

– Господа, тюрьмы и каторга переполнены борцами за политические права и свободы. Мы знаем, сколько преступлений прикрито священным именем монарха, сколько крови скрыто под горностаевой мантией, прикрывающей плечи государя императора. Свободная Россия требует освобождения всех, кто пострадал за свободу! Мы требуем отмены смертной казни за политические преступления!

Последовала овация.

На трибуну поднялся недавно вернувшийся из эмиграции профессор Ковалевский.

– Господа, мы все выступаем за немедленную амнистию и отмену смертной казни! Никакие кары не остановят террора! Террор был, есть и будет, пока мы не накажем этих людей... прощением. Да, да! Именно евангельским прощением мы должны наказать всех так называемых террористов!

Крайние левые обиделись.

– О каком прощении в этих стенах идет речь?! Мы не нуждаемся в прощении! Амнистия – это акт элементарной справедливости!

– Господа, от лица всего русского народа я предлагаю в ответном адресе на речь государя включить целую программу во главе с полной политической...

– Мы не согласны! Мы требуем исключить из адреса выражение «русский народ»! Российское государство многонационально, и мы не имеем права обижать другие народы, которые царская Россия штыками загоняла в свой дом! Мы требуем равноправия для всех народов и в самом названии государства!

– А я предлагаю вообще исключить слово «Россия» из думских дебатов, так как это имя оскорбляет чувства нерусских членов думы!

– Браво, господин Кареев!

– Господа, предлагая амнистию политзаключенным, мы должны ясно сознавать ее цель. Цель амнистии – не просто прощение убийц, но...

– Я протестую против названия политических заключенных убийцами!

– Повторяю, цель амнистии – будущий мир в России. Государственная дума должна доказать, что в этом мы будем своему государю порукой и опорой. Что никто больше не имеет права тягаться кровью. Что отныне все будут жить, управляться и добиваться своих прав не силой, а по закону. По старому закону Божию, который прогремел четыре тысячи лет назад всем людям и навсегда – не убий!

– Господин Стахович забыл, где он находится! Это не церковная кафедра, и вас никто не уполномочивал произносить в народном собрании проповедей. В России нет правосудия! В России нет правды!

– Господин Родичев, успокойтесь, мы уже решили, что страны с таким названием не существует!

– Господа, нужно включить в адрес императору слова: «Государственная дума выражает твердую надежду, что с установлением конституционного строя прекратятся политические убийства, которым дума выражает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и...

– Мы против как решительного, так и нерешительного осуждения!.. Господа! Предлагаю следующую формулировку для ответа царю: «Ваше Величество! Остановитесь! Вы расстреливаете не несчастных людей, не случайные жертвы, ваши пули стреляют в совесть русского народа...»

– Опять «русского народа»? Какого такого «русского»? Ведь уже договорились!..

– Вы стреляете в многонациональную совесть российского народа! Ужасы легального убийства превосходят все эксцессы революционного террора!..

Слева последовала овация, справа – свист.

– Господа, надо осудить только будущие убийства, а прошлое покрыть полной амнистией...

– Наша задача – не допустить никаких будущих убийств!..

– Это не наша задача! Политические убийства есть последнее средство борьбы с произволом!.. И мы не можем бросить камень в тех, кто вынужден, рискуя жизнью, вступать в эту борьбу!

– Но, господа, если правительственных казней за последние месяцы было около девяноста, то за то же время террористами убито двести восемьдесят восемь и ранено триста тридцать восемь представителей власти!

– Мало!

– Кто сказал: «мало»? Я предлагаю стреляться с тем, кто кровожадно сказал: «мало»!.. Вы хотите сделать право смертной казни привилегией революционеров? Вы полагаете, только им позволено безнаказанно убивать?

– Девяносто казненных – это вы называете безнаказанностью?!

– Сильная власть должна презреть этот иерихонский шум!

– А я считаю для себя оскорбительным стреляться с черносотенным погромщиком! И повторяю...

– Господин Горомило!.. – зазвенел колокольчик председателя. – Прошу не допускать непарламентских выражений...

В победительном настроении (как и в тот незабываемый день провозглашения царского Манифеста семнадцатого октября о свободах) возвращался Тарас Петрович с первого заседания Государственной думы. Зажигательные речи товарищей по партии, зашкаливающая левизна большинства парламентариев, их веселая, яростная перепалка с немногочисленными,

а главное, неумелыми ораторами умеренных и правых наполняли его буревестное сердце здоровой бодростью и оптимизмом, так что даже петербургская погода не вызывала у него приступа душевной мигрени. Впрочем, и погода в тот исторический день по-весеннему ярко-солнечная, с гонимыми южным ветром по всему небывало синему небосводу рваными облаками, вполне соответствовала духовному подъему вызванных царской волей из политического небытия думцев.

А через несколько заседаний к киевскому профессору Горомило подошел парижский профессор Ковалевский и, доверительно улыбнувшись, спросил:

– Как вам выступление князя Урусова? Смело! Отважно! Обвинить темные силы в правительстве в организации еврейских погромов – это сильный ход. А знаете, когда я был вот таким маленьким, первая фраза, которую я произнес, была: «Папа – дурак!» – И Максим Максимович вопросительно посмотрел на Тараса Петровича наивными голубыми глазами.

– Ну что ж, могу только поздравить, ваша борьба с авторитетами началась довольно рано, – резонно прокомментировал Тарас Петрович странный пассаж Ковалевского.

– Именно! – захохотал парижский профессор. – Именно так! Можно сказать, с пеленок! Однако, думается мне, что и вы... гм... не чужды этой борьбе, я не ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь. Я давно не признаю никаких авторитетов.

– Включая Божественный? – сладко-осторожно спросил Ковалевский.

– Божественный – в первую очередь, – важно ответил Тарас Петрович.

– Вот и славно, – сказал Максим Максимович и, взяв Тараса Петровича под локоток, серьезнейшим образом произнес: – Не угодно ли вам будет, уважаемый Тарас Петрович, встретиться со мной лично для конфиденциальной беседы?

– Желательно знать, относительно какого вопроса?

– Ох вы какой... нетерпеливый! – И Максим Максимович игриво погрозил ему пальчиком. – Мы же с вами, кажется, уже сошлись на общей платформе нелюбви к авторитетам...

– Вы хотите предложить мне перейти в другую партию? – прямо спросил Тарас Петрович.

– Ну-у, ну, ну! Экой вы, право... Наше общество надпартийно... Мы, видите ли, проповедуем общечеловеческие ценности, сугубо гуманитарного свойства... Речь идет о нравственном совершенствовании человечества...

– Честно говоря, уважаемый Максим Максимович, меня не в первую очередь интересуют эти проблемы.

– Гм... Вы слишком торопитесь, дорогой Тарас Петрович. А я уверен, что мы с вами подружимся и что наши задачи будут для вас чрезвычайно интересны, поскольку в России – а мы ведь с вами, несмотря на некоторые экстремистские... м-м... излишества, пока что еще по-прежнему называемся Россией, не так ли?... – поскольку, повторяю, в России вопросы нравственного совершенствования неотделимы от совершенствования политического... для чего мы с вами и призваны сюда гм... народом. Знаете, – продолжил Максим Максимович со смешком, – как-то один из наших в Париже, чуть не хватая меня за грудки, кричал: «Как вы смеете не быть республиканцем в России?!» «Успокойтесь, – говорю ему, – успокойтесь, дорогой мой, не надо гнать лошадей. Для начала мы установим конституционную монархию, а уж потом...» Кстати, скажу вам откровенно, за годы своего проживания в Париже я настолько офранцузился, что потребности и стремления французского общества понимаю гораздо лучше, чем наши, ха-ха-ха... Ну так как, Тарас Петрович?

– Где и когда вы предлагаете встретиться?

– У меня дома, мы ведь с вами почти соседи. Да хотя бы и завтра.

На другой день заинтригованный Тарас Петрович сидел в гостиной хозяина роскошной квартиры на Сергиевской.

– Видите ли, – говорил ему с ласковой улыбкой Ковалевский, – есть серьезная опасность, что радикальные элементы из рабочих и из буржуазных классов не смогут в нужный момент

сговориться относительно действий, выгодных для обеих сторон. Раздробленность левого движения, равно как и взаимная борьба разных партий, ослабляет силу общего натиска на самодержавие, поэтому мы полагаем, что создание таких вне- и надпартийных организаций, в которых представители радикальных элементов разных классов могли бы обсуждать и согласовывать свои действия на нейтральной почве, – жизненно важное и полезное дело. На наших собраниях руководители всех партий встречаются не как враги и конкуренты, а как члены одной семьи, одной и той же организации, требующей братского отношения друг к другу и выработки приемлемой для всех общей линии борьбы. Здесь самое важное, дорогой Тарас Петрович, братское взаимопонимание в принятии решений и дружный натиск на единого для всех нас врага... А враг у нас... надеюсь, враг у нас с вами один?

Тарас Петрович согласно кивнул.

– Видите ли, – ласково продолжил Максим Максимович, – главный вопрос современной России есть вопрос... – Он сделал паузу, как бы предлагая ученику завершить фразу учителя.

– ...о власти, – мрачно подтвердил Тарас Петрович.

– Вот именно! – засмеялся Максим Максимович. – Я вижу, вы не очень-то благоволите... Ну да и понятно, я не знаю ни одного мыслящего человека в России, который любил бы нашу варварскую власть, впрочем, всякая власть над человеком есть насилие. С другой стороны, что мы видим? Мы видим, как на протяжении всей истории человечество вынуждено было смиряться с родительской, церковной, государственной, Божественной властью, хотя это смирение всегда таило и таит в себе угрозу бунта. Вы следите за моей мыслью?

Тарас Петрович снова кивнул.

– Я продолжаю. Итак, бунт! Бессмысленный и беспощадный! – Ковалевский коротко хохотнул. – Бунт успешно подавлялся. Извне – государственной машиной, а изнутри – согласием самого человека на подчинение Божественному авторитету, ибо источник послушания земной власти есть ее Божественный авторитет. Но давайте поседем в человеке сомнение в неограниченном праве Божества устанавливать Свои правила игры, то бишь заповеди, давайте поседем в человеке сомнение в самом существовании Божества – и мы увидим, как цепи в одночасье падут и вместо Божественных прав на пьедестале окажутся наши собственные! Права личности станут нашим новым богом. Человеческая личность *сама* будет определять, что для нее нравственно, а что безнравственно, что – добро, а что – зло. Человек станет наконец поистине независимым и свободным – мерилем всех вещей. Освобождение человеческой личности от авторитарной власти Божества и всех прочих властей есть путь к достижению наших заветных целей – свободы, равенства и братства!

– Так вы анархист? – спросил недоумевающий Тарас Петрович.

– Я республиканец, – гордо ответил Ковалевский. – Очевидно, что монархическая идея себя изжила. Освобождение от власти Божества эмансипирует нас и от признания монархии как единственного образа правления для России! Власть, лишенная Божественного авторитета и покровительства, окажется беззащитной и не сможет более удерживать народы в многовековом повиновении себе и любви. Поскольку вера в Бога является главным препятствием на пути освобождения человечества и поскольку закабаленный верой человек никогда не покорится новым заветам свободы, не пойдет по пути духовного раскрепощения и прогресса, наша первоочередная гуманитарная задача – помочь развенчать и искоренить эту веру всеми доступными нам средствами!..

– Позвольте! Но ваш призыв к борьбе с Божественным авторитетом уже устарел. За последние сто лет Церковь получила такие серьезные удары и со стороны общественности, и со стороны науки, что позиции ее не только основательно пошатнулись в России, не говоря уже о западном мире, но и грозят в ближайшем будущем окончательно рухнуть. Одна деятельность Льва Толстого чего стоит! Во Льва Толстого многие теперь веруют больше, чем во Святую, Соборную и Апостольскую Церковь!

– Браво! Отлично сказано! – радостно воскликнул профессор Ковалевский.

– Думается, что расцерковленное сознание масс, чему много способствовал, в частности, и великий наш гений Лев Николаевич, сделает для большинства нашего народа безразличным факт упразднения монархии. Тем более что царствующий государь непопулярен, еще менее популярна государыня.

– Браво, браво! – повторял довольный Максим Максимович. – Наш долг споспешествовать этой общей нелюбви к монархии...

– Мы-то споспешествуем, однако правые силы тоже, знаете ли, не сидят сложа руки...

– Что ж что правые силы! Правые силы немногочисленны и еще более раздробленны, чем левые. Кроме того, в цивилизованном обществе правым силам не подают руки...

– Однако стабилизирующая роль выскочки Столыпина...

– Ах милый мой, все кончится как обычно, – поморщился Ковалевский.

– Вы имеете в виду...

– Ну конечно. Последнее покушение доказывает серьезность намерения несогласных с политикой Столыпина устранить Петра Аркадьевича. Но давайте вернемся к нашим баранам. Вы все еще не догадываетесь, в какую организацию мы хотим вас пригласить?

– Понятия не имею, – пожал плечами Тарас Петрович, уже почти зная ответ.

– Масонство, – все так же ласково улыбаясь, ответил Максим Максимович.

– Масонство?! – сделал удивленный вид киевский профессор.

– Увы, в нашей варварской стране запрещенное... но вам, просвещенному человеку, должно быть хорошо известно, масонство, как часть великой и непревзойденной западной культуры, служит для распространения самых прогрессивных идей во всем мире и во всех слоях общества. Наша цель – объединение человечества на основе свободы, равенства и братства без различия рас, наций, религий, культур, званий и положений. Мы создадим самое справедливое царство на земле, своего рода земной эдем! И, уверяю вас, только русское масонство, поддержанное международными братскими союзами, обладающими многовековым опытом организационной работы, сможет победить стоящее на пути эдема царское самодержавие. Кроме того, масонство как феномен более высокой цивилизации сможет установить свой контроль над русской революцией, не дав ей превратиться в русский бунт, как всем известно, по определению нашего национального гения, – бессмысленный и беспощадный. Согласны ли вы, уважаемый Тарас Петрович, стать нашим конфиденнтом, нашим соучастником, нашим братом?

– Согласен, – не раздумывая ответил испытуемый.

Максим Максимович широко улыбнулся и пожал ему руку.

– Я рад, что не ошибся в вас. Видите ли, существует некий, как вы понимаете, ритуал, – деловито засерьезничал он. – Разумеется, не в таких архаических формах, как прежде, но все-таки вам придется пройти некоторые испытания и дать определенные клятвы – нечто вроде присяги.

– Я понимаю.

– Обязан предупредить, мой дорогой профессор, но... масонская клятва – вещь чрезвычайно... м-м... серьезная и требующая неукоснительного соблюдения. Упаси Бог кого-то запугивать, но должен сказать... в качестве примера разумеется, что во времена Великой французской революции... – Говоря это, Максим Максимович встал и, если бы в этот момент на нем была шляпа, обнажил бы голову.

Глядя на Ковалевского, встал и Тарас Петрович. Постояв несколько секунд и почтив таким образом память великого события всего рода человеческого, Максим Максимович сел и продолжил речь:

– Так вот, великому мастеру ложи «Великий Восток Франции» герцогу Орлеанскому Филиппу Эгалите отрубили голову только за то, что тот по наивности решил: раз масоны захватили власть во Франции, значит, можно не особо хранить тайны... ха-ха-ха... М-да, между

прочим, доктор Гильотен, тот, что изобрел у них... – Тут Ковалевский прочертил ладонью по шее. – ...Придумал очень гуманный, как говорится, способ умерщвления: р-раз! – и как легкий ветерок по шее! Это вам не наши российские виселицы с гнилыми веревками или уж совершенно варварские розги!

– Однако и в гильотине я не нахожу ничего хорошего, – заметил Тарас Петрович.

– О, разумеется! – воскликнул мэтр. – Я исключительно для примера. Только чтобы, знаете ли, подчеркнуть разницу между высокой цивилизацией и варварством даже и в смысле наказания высшей мерой. Кстати, о наказаниях. Мы ведь с вами все-таки не совсем толстовцы и подставлять щеку не собираемся, не так ли? Диктатура свободы должна жесточайшим образом бороться против любого проявления несвободы, неравенства и небратства! Вы... разделяете?

– Разделяю, – согласился Тарас Петрович.

– Да, да, да! – воскликнул Ковалевский. – Наша борьба за свободу потребует многих жертв... – Ковалевский зажмурился. – В свое время Марат насчитал двести семьдесят тысяч желательных трупов, в действительности их было... миллионы! Что же касается нас... тут даже трудно себе и вообразить. Но пусть, пусть на алтарь свободы мы принесем десятки миллионов жизней... свобода стоит таких жертв! Не правда ли? Уж на что тот же Белинский... Кстати, вы как... к Белинскому?

Тарас Петрович наклонил голову то ли в знак сочувствия и уважения, то ли просто затрудняясь найти правильные слова, и Ковалевский продолжил:

– «Я начинаю любить человечество по-маратовски, чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». А?.. А вот это как вам понравится? «Люди так глупы, что их насильственно надо вести к счастью. Да и что кровь тысяч в сравнении с унижением и страданием миллионов». А? Кто это? Робеспьер? Дантон? А вот и не угадали! Это наш доморощенный Марат – Неистовый, как его называли друзья, Виссарион, увлекший своими идеалами бо́льшую часть студенчества и интеллигенции! – воскликнул Максим Максимович и вдруг с чувством задекламировал:

Как сладостно отчизну ненавидеть!..

Тарас Петрович подхватил:

И жадно ждать ее уничтоженья!

И они вместе dokonчили:

И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницы пробужденья!..

– Так вы наш?! – воскликнул Максим Максимович. – Совсем, совсем наш?

– Ваш, – ответил взволнованный Тарас Петрович. – Весь ваш!

И Ковалевский бросился ему на шею.

После пылких дружеских объятий выпили на брудершафт.

– А знаешь ли ты, Тарас Петрович, нашу конечную цель? – запросто, уже называя будущего «брата» на «ты», спросил Ковалевский.

– Я догадываюсь, – важно ответил тот.

– Уничтожение всех алтарей и тронов!

Ах как сладко задрожало, заныло сердце в мучительном, непереносимом восторге, даже слезы выступили на глазах!

– Екатерине дали спокойно умереть за ее великие заслуги перед масонством, – продолжал Максим Максимович. – Как-никак, именно при ней расцвел Московский университет, созданный нашим незабвенным дорогим братом Иваном Шуваловым, где постепенно вся профессура оказалась в благодетельном братском союзе. Но уже начиная с Павла...

– Неужели с Павла?! – ахнул Тарас Петрович.

Ковалевский многозначительно кивнул.

– А как же потом – Николай... столько жил?.. – В словах Тараса Петровича прозвучали нотки неподдельной горечи и разочарования. – Тридцать лет деспотического правления!

– И Николай, и Александр были в наших сетях. Александр знал о готовящемся заговоре декабристов, но и пальцем не пошевелил, предпочтя умереть в Таганроге или, как говорят сведущие люди, уйдя в сибирский затвор. – Ковалевский иронично улыбнулся. – А Николай... Николай, разбирая дела декабристов, не посмел тронуть наших высших братьев, стоявших во главе всего дела, разумно предпочитая следствие прекратить и наказать для видимости так... мелкую сошку. Дважды Николаю присылали преогромнейшие досье на деятельность наших братьев, и он не мог не ужаснуться тому, что практически *вся Россия* в ее высшем властном сословии оказалась на нашей стороне. На кого бы он мог опереться? Всюду мы: в Госсовете, в Сенате, в университетах, в Духовной академии, в семинариях, в журналах, в светских гостиных. Так что все участники заговора, кроме «патриотов» – доносчиков, остались на своих местах, получили награды и повышения: и Сперанский, и Мордвинов, и все прочие. Николай поступил мудро, заключив с нами негласный конкордат, и – в результате – остался на троне. Вот уже полтора столетия мы формируем общественное мнение в России, направляем умственное движение молодежи, разъясняем народу, к какой цели он должен идти. И мы сделали так, что верят не царю, не правительству, не Церкви, а нам.

Тарас Петрович еле успевал переводить дух, а Ковалевский вдохновенно продолжал:

– Александр Второй уже был игрушкой в наших руках, он послушно осуществлял те реформы, которые диктовали ему мы. Жаль, был убит накануне нашей последней, заключительной инициативы, которая увенчала бы все здание. Вот она, наша беда, разрозненность и несогласованность действий, – огорчился Максим Максимович. – Лорис-Меликов везет царю подписывать конституцию, а Гриневицкий со товарищи бросают бомбу! В результате царь – в гробу, а неподписанная конституция – у него на столе.

«Братья» молча переглянулись и сокрушенно вздохнули.

– Наша теперешняя задача – устранить этот недостаток, нанести власти единый мощный удар от лица объединенной общественности для окончательного разрушения самодержавия!

– А что потом? – облизнув пересохшие губы, спросил Тарас Петрович.

– Потом... Потом Всемирная Республика. Никаких государств, никаких наций, никаких сословий! Единый мировой порядок, единое правительство, единая религия.

– Значит, религия все-таки остается? – разочарованно спросил Тарас Петрович.

– Не пугайтесь, дорогой Тарас Петрович, масонство – это и есть новая мировая религия, всемирная церковь, а высшие наши братья – ее истинные священники.

– А бог? Кто же все-таки бог?

– Уж наверное не Сын плотника из Назарета, – усмехнулся Ковалевский.

Придя домой на Моховую, Тарас Петрович отказался от ужина и, испросив только стакан крепкого чая, заперся у себя в кабинете. Всю ночь он не спал. Разные мысли ворочались у него в голове: то он представлял себя в роли республиканского главы правительства – а почему бы и нет?! Уж не хуже Столыпина навел бы порядок в России! То, в противоречие всех своих пожизненно демократических воззрений, ему вдруг захотелось немедленно сообщить в полицию о готовящемся государственном перевороте. Эта искусаительная мысль, не иначе как подсунутая ему насмешливым бесом, долго мучила его своим абсурдом, и, сердясь и раздражаясь, он гнал ее от себя как назойливую муху.

А муха все жужжала и жужжала. «Вот взять и написать записку министру внутренних дел! Пускай он их!..» От этой неожиданной мысли Тарас Петрович ошалело открыл глаза, откинул одеяло и, не нащупав домашних тапочек, нервно зашагал босиком по мягкому ковру.

«А если он, министр, тоже – их? Да и наверняка – их!.. Конечно – их!.. А тогда – что же... Тогда – в прессу! Да, да, напечатать в газете, самой влиятельной, самой... общественной! Сто пятьдесят лет «братья» готовят разрушение России! Чтобы все прочли и ахнули!.. О, какая будет бомба!.. На весь мир!.. И я, Тарас Петрович, – спаситель России!.. Да, но ведь и газеты – их!.. И суды – их! И дума, выходит, их тоже! Все – их!.. И я... их! Так ведь и хорошо, и слава Богу, что их!.. Что это я, с ума, что ли, схожу?..»

В назначенный день новоиспеченный кандидат снова явился на квартиру Ковалевского для предстоящих испытаний. Тараса Петровича отвели в отдельную комнату и подали анкету с рядом вопросов касательно его отношения к семье, религии, войне, к задачам прогресса, наиболее желательной форме государственного правления в России и тому подобного.

Когда ответы были готовы, к нему снова вошел Ковалевский и, взяв исписанные нервными каракулями листки, удалился для обсуждения их с членами ложи. Затем он еще раз вернулся, уже за самим Тарасом Петровичем, и, крепко завязав ему глаза, повел его в другую комнату. Там его усадили на стул и *страшным* голосом задали первый вопрос:

– Знаете ли вы, где находитесь?

Тарас Петрович невольно вздрогнул.

– На собрании масонской ложи, – не совсем уверенно проговорил испытуемый.

Тогда «братья» стали задавать ему вопросы, подобные тем, что были в анкете.

Несколько осмелев, Тарас Петрович уже бойчее стал отвечать, что семью он понимает в расширительном смысле, как всемирное грядущее братство всего освобожденного человечества, в идеале – с единым мировым правителем, что он – яростный пацифист и противник любой войны вообще, а его главный принцип касательно существования всего человечества – мир и безопасность, что, как человек разумный, он выступает за мирное разрешение любых международных конфликтов, однако в случае нападения на Россию пока что он все же считает необходимым взять в руки оружие для защиты отечества, что он, разумеется, атеист, но в вопросах совести толерантен и допускает право человека исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, что, наконец, наилучшей формой государственного правления в России он считает республику и что свою политическую задачу он видит в приближении исторической смены парадигмы власти.

– А как вы относитесь к террору? – прозвучал вдруг неожиданный вопрос.

– Террор... я считаю одной из реальных форм политической борьбы оппозиции ввиду отсутствия других форм сопротивления реакционной власти.

– Находите ли вы нужным дальнейшее развитие террора или его следует, по-вашему мнению, прекратить ввиду Манифеста семнадцатого октября и вступления России на конституционный путь?

– Думаю, это будет зависеть от поведения властей. Скорее всего, террор будет продолжен, поскольку власть уже сейчас пытается если не аннулировать данные ею свободы, что уже невозможно, то всячески препятствовать их осуществлению.

– А готовы ли вы лично участвовать в терроре?

Тарас Петрович впервые смешался. Он знал, что говорить нужно только правду, и, краснея, вынужденно признал:

– Я... гражданский человек... Мой сын, вернее пасынок... связан с террором... он сейчас за границей... Но я никогда не держал оружие в руках... Я полагаю, поддержка террора, если в этом будет необходимость, может выражаться в интеллектуальной форме...

– Хорошо. Мы удовлетворены вашими ответами. Встаньте, пожалуйста, – попросил незнакомый голос, и Тарас Петрович услышал, что встали и все присутствующие.

– Сейчас я произнесу слова клятвы, а вы будете за мной повторять.

Клятва была короткой, но торжественной и суровой. Она обязывала хранить масонские тайны, а также соблюдать безукоризненную верность братьям по ложе во всех случаях жизни, при всех обстоятельствах, даже если это будет сопряжено со смертельной опасностью.

Когда Тарас Петрович слово в слово повторил слова клятвы, тот же незнакомый голос, обращаясь к присутствующим, уже мягче спросил:

– Чего просит брат?

И все дружно, хором ответили:

– Брат просит света!

Максим Максимович снял повязку с глаз испытуемого и поцеловал Тараса Петровича.

К его удивлению, в комнате находилось всего шесть человек, из которых пятеро оказались его коллегами по Государственной думе. Они все по очереди подошли к новому «брату» и расцеловались.

16

Университетский приятель Павла, поэт Матвей Звездный (псевдоним), напечатавший уже несколько стихов в двух модных журналах и знакомый с самими Мережковским и Гиппиус, в один прекрасный вечер, между прочим, сказал:

– В среду в шесть часов нас ждет Зинаида Николаевна.

Нет, в обморок он, слава Богу, не упал, но коленочки, как сказала бы мамочка, задрожали. Среда – это когда же?.. Да это уже послезавтра! Да ведь надо подготовиться! Что читать? Лучшее!.. А что у него лучшее? Посоветоваться разве с Матвеем? Да у них совсем разные направления... Матвей все больше туману напускает, а у него, у Павла... «хрустальной ясности смысл». Так говорит мамочка, которой одной он в конце концов открылся и доверяет.

И вот – среда... Вымыт, вычищен, отутюжен, надушен. Цветы... какие лучше цветы? Розы? Ах, нет, Матвей говорил, она любит лилии. Да, розовые лилии. Розовых не оказалось. Купил белые. Что еще? Тетрадошка стихов. Вот она здесь, на груди.

Без пятнадцати шесть он уже мерил шаги у дома Мурузи вдоль Пантелеймоновской до угла Литейного и обратно и каждую минуту взглядывал на часы. Как бы не опоздать, – волновался Павел, зная за товарищем такой грех. Но вот и Матвей! В отличие от принаряженного приятеля, он выглядел волне обыденно и без букета. Что ж, он – свой. Ему можно.

Дверь открыла молодая горничная. Блеснув черными быстрыми глазами на Павла, белозубо улыбнулась и приняла шинели.

– Проходите, господа студенты.

И вот он входит в полуосвещенную гостиную. Зинаида Николаевна в узком, зеленом, переливчатом платье, что очень идет к ее серо-зеленым глазам и золотисто-рыжеватым волосам, полулежит на кушетке.

– А! Молодые дарования... – томно прищурясь, роняет она и протягивает поэтам руку. – Милости прошу.

Павел целует надушенную ручку и вручает Сильфиде (как он сразу ее окрестил) букет.

– Чудесные лилии. Спасибо. Катенька... – И она передает букет горничной. – Садитесь, господа... вот сюда, на диван, ближе к лампе... Ну-с, дайте-ка я на вас посмотрю... – И Зинаида Николаевна, приблизив к глазам лорнет, стала подробно и внимательно рассматривать Павла («Как микроба в микроскоп», – пронеслось у него в голове). Кончив осмотр, Зинаида Николаевна отложила инструмент и удовлетворенно произнесла: – Ну что ж, будем считать, что познакомились.

– Я, Зинаида Николаевна, вам рассказывал. Наш лучший поэт («Ну, лучший не лучший, лучший-то, положим, я», – одномоментно думал Матвей), Павел Рорик.

– Как вы сказали? Рорик? – Зинаида Николаевна подавила смех. – Верно, псевдоним?

– Псевдоним, – признался Павел. – А вам кажется... не очень?

– Ну, как вам сказать... немножко странно. Но отчего же – Рорик?

– Видите ли... моя матушка... она из последних Рюриковичей... А один мой знакомый студент говорит, что Рюрик звучит по-скандинавски скорее Рорик... Вот. И всё.

– М-м... Теперь понятно. Ну и что же вы нам почитаете, господин Рорик?

Павел встал, откашлялся.

– Я волнуюсь, – сообщил он.

– Не волнуйтесь, – сказала Зинаида Николаевна. – Здесь ваши доброжелатели.

– Спасибо. Так я начинаю?

– Начинайте.

– Стихотворение называется «И Слово плоть бысть».

– Очень интересно, – сказала Зинаида Николаевна и, приготовившись слушать, снова направила на поэта лорнет.

– Если можно... без этого... без лорнета, – попросил Павел.

– Ах, пожалуйста.

– «И Слово плоть бысть», – повторил он название и стал читать первые строки, дрожа и краснея, потом, по мере чтения, голос его окреп, вдохновляющая мысль повела за собой ввысь, как Вифлеемская звезда туда, где произошло единственное в мире чудо нисхождения Бога Слова в мир... Это были стихи, посвященные Рождеству, но лишенные бытовизма, или слащавого умиления, или рассудочной пошлости, простые и даже грубые, как камни Сиона...

Матвей ревниво следил за выражением лица Гиппиус, которое постепенно утрачивало свойственную этой даме насмешливость и становилось все более внимательным и строгим.

Окончив чтение, Павел сделал паузу и сказал:

– Вот. И всё.

Несколько секунд Зинаида Николаевна молчала, потом, протянув ручку к лежащей перед ней на столике коробочке и раскурив надушенную папироску, встала и, приоткрыв дверь в соседнюю комнату, тихонько позвала:

– Дмитрий Сергеевич, выйди к нам.

Павел знал Мережковского по портретам. Но, увидев его живым, очень удивился. Мережковский оказался совсем маленьким, а нос совсем большим, и только глаза поражали своей необычностью, словно их обладатель находился только что в иных мирах и совершенно не имел отношения к тому, что происходит здесь, на грешной земле.

– Я хочу представить тебе нового поэта. Павел Рорик. Это... псевдоним. Вы можете почитать нам что-нибудь еще? – попросила она Павла.

И Павел стал читать. Читал много, хорошо и уже не волнуясь.

– Ну что ты нам скажешь? – обратилась Зинаида Николаевна к мужу, когда Павел исчерпал свои возможности.

– Скажу, что надо печатать. – Мережковский поглядел на поэта темными печальными глазами.

У Павла сердце выпрыгивало из груди. Матвей же подумал, что зря, пожалуй, он притащил Пашку к Мережковским, будет теперь задирать нос.

– Печатать? С такой фамилией? – фыркнула Зинаида Николаевна. – А знаете что? – улыбнулась она Павлу. – У вас ведь прекрасная собственная фамилия – Словенов. Кажется, так? «И Слово плоть бысть»! – повторила она название первого стихотворения Павла и снова ласково улыбнулась. – Что-то в этом есть... А? Очень вам подходит. Правда, Дмитрий? Давайте без псевдонима.

Павел был в полуумняемом состоянии, только улыбался и на все согласно кивал. Мережковские и в самом деле помогли ему напечатать подборку стихов, и сразу же имя «Словенов» стало известным в богемно-поэтических кругах.

Павел ликовал, да и матушка им гордилась, только отчим почему-то недовольно морщил нос, но, впрочем, он весь был в стихиях политических, сгорая в огне думских баталий, и мало обращал внимания на домашние мелочи.

Он стал часто бывать в доме Мурузи, Зинаида Николаевна принимала его неизменно ласково, иногда, казалось Павлу, даже и чересчур ласково, так что ему становилось страшно. Обычно она усаживала Павла подле себя на кушетку и, распустив изумительные свои золотистые волосы, доходившие ей до колен, и приблизив к его лицу изумрудные глаза, казавшиеся в такой близости огромными, требовала что-нибудь ей почитать или рассказать. А у Павла комок застревал в горле. Красные губы Сильфиды почти касались его лица, и больше всего на свете ему хотелось не читать, а сжать руками ее неправдоподобно тонкую талию, утонуть в потоке золотых волос и умереть, прикоснувшись к алым орхидеям ее губ. Пряные запахи надушенных

рук, волос, папиросок, платья окутывали его дурманом; почти задыхаясь, он изнемогал, и, в последнем волевом усилии пытаюсь спастись, откидывал голову назад, отшатываясь от наваждения, и что-то лепетал о недавних студенческих волнениях или, задыхаясь, проборматывал строчки каких-нибудь своих или чужих стихов.

Зинаида Николаевна улыбалась, ей нравилось ничем не грозившее ей умопомрачение милого гостя. Она отодвигалась от Павла, и монисто из обручальных колец ее поклонников нежно звенело.

Входил сам хозяин и молча садился у горящего камина, и все втроем молчали и смотрели на огонь. А потом Мережковский начинал говорить и говорил обольстительно, как змий, и бедный Павел не знал, кто из супругов сильнее околдовывает его душу. Оба они вовлекали молодого человека в круг тех духовных вопросов, которыми жили сами. Эти вопросы были столь громадны и столь неожиданны, что у Павла голова шла кругом. Ни много ни мало Мережковские проповедовали новую церковь «третьего завета» (!). И не только проповедовали, но и пытались реализовать. Воспитанный духовниками Киево-Печерской лавры, он не сразу сумел вместить эти потрясающие дерзновения гордого человеческого ума. Представляя в общих чертах историю Вселенской Церкви, Павел знал и то, что все вероисповедные вопросы решались исключительно на Вселенских Соборах епископами по внушению Духа Святого. А здесь... о, он слушал их дерзкие полеты мысли с замиранием, трепетом, упоением, восторгом! А потом вдруг опоминался. Как? Ведь они, пусть даже великие и гениальные, всего лишь... миряне! Миряне дерзают нарушить догмат! Миряне предъявляют дерзкие претензии исторической Церкви! Миряне служат домашнюю *литургию*! О, не кощунство ли? – испепелял сердце страх. Не новая ли секта? Ужас леденил душу.

О, не сразу доверили ему эту тайну! Было много нежнейших бесед и с глазу на глаз с обольщающей зеленоглазой русалкой вдвоем, и втроем с крошечным человечком и громадным огненным пророком. Доверили ему и некоторые имена членов новой церкви, и это еще больше изумило и потрясло Павла. И уже уговаривали его прийти на домашнюю *литургию* в четверг, и уже почти что он согласился, но в последний момент все же сказал, что должен спросить своего духовника, а духовник его в Киеве, и пока он не получит от него благословение... О, как сразу помрачнели их лица! Зачем же посвящать в это дело попов? Разве не ясно, что они скажут. И потом... мы доверили вам свою самую сокровенную тайну, вы не имеете морального права никого в наше дело мешать...

Путались мысли, путались желания, запутывалась клубочком ясная доселе жизнь... Пробовал не ходить, но Мережковские держали цепко. «Милый, милый Рорик (так они звали Павла), куда же вы пропали? – писал в записке Дмитрий Сергеевич. – Если вас напугали наши последние разговоры, забудьте всё, только не бросайте нас. Вы нам очень дороги обоим. Если вы нас покинете, Зинаида Николаевна и я будем очень несчастны, поверьте, милый, нам без вас теперь никак невозможно. Дорогой вы наш мальчик, любимый, приходите завтра, как обычно, в девятом часу, и мы будем знать, что вы на нас больше не сердитесь и все остается по-старому».

И Павел покорно возвращался. И снова внимал речам сирены-Зинаиды Николаевны и змия-обольстителя Дмитрия Сергеевича о «святой плоти» в новом «третьем завете», о земной правде, исторической Церковью преступно попираемой, о необходимости нового догмата об освящении брачной ночи (не замечая или, напротив, замечая и намеренно вгоняя его в краску стыда). О том еще, что «самодержавие от антихриста»! Почему? Почему? Почему? – билось в смертной истоме сердце. А потому, что новое понимание христианства требует отрицания православия и самодержавия. Слова учителей как капли яда проникают в мозг и сердце, и бедное сердце опять умирает. А что же это за новое понимание христианства? Вместо народности – всечеловечность, вместо самодержавия – теократия, вместо православия – «третий завет», откровение третьей Ипостаси Божества – новая религия Святого Духа. Да, спасение мира, – пророчествует «пророк», – только в новой духовной революции, предшественницей

которой является революция социальная. Посему мы с Зинаидой Николаевной приветствуем революцию и отвергаем царя, революцию задушившего! Впереди – рассвет и духовное преобразование мира, и сие да буди, буди!..

* * *

«Чадое мое дорогое Павле!

Огорчительное письмо твое с поздравлением Светлого Христова Воскресения получил, благодарю. Желая и тебе духовного и телесного здравия и Божьего благословения на все доброе и благое.

Что долго не отвечал – болел. А теперь встал и служу, а что до постоянных моих хворей, так я не обращаю на них внимания, преодолевая плотские немощи с помощью Божией. Слава Богу за все.

Чадое, что мне сказать о твоих новых знакомцах, о которых ты пишешь как о своих близких и чуть не учителях? Могу только ответить словами Спасителя о распинавших Его на Кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как те, древние нечестивцы распинали пречистую плоть Его неведущими руками, так эти распинают Его своими хульными домыслами о Нем и Его Домостроительстве.

Читали и мы писания г-на Мережковского в свое время. С уничижением паче гордости пишет он, называя себя и своих «не призванными на пир», «мытарями, грешниками, блудниками, прелюбодеями и разбойниками». И это поистине так. Но – рассуди, чадое, разве мытари, разбойники и прелюбодеи приходят во Святую Церковь не со смирением кающихся, а как *учителя? Разве мытарям и блудницам учить Церковь?*

Ты и сам пишешь, чадое, могут ли люди мирские, светские судить о церковных догматах, которые Святая Церковь принимала в древние времена Вселенских Соборов Духом Святым и соборным разумом святых отцов? И не только судить, но и противоречить, но и отвергать, но и вносить *свое, человеческое, греховное и выдавать за истинное?*..

Откуда сия дерзость? Не от маловерия ли? А маловерие – не от самомнения? А самомнение – не от гордыни? А гордыня – не мать ли всех пороков? Не от гордыни ли пал сам сатана и треть ангелов?

А ведь Господь предупреждал нас о лжепророках. И сколько их теперь развелось! Вся наша интеллигенция, давно утратившая веру отцов, принялась пророчествовать! Лев Толстой – пророк! Мережковские – пророки! Даже Горький – пророк! И самый большой пророк – Карл Маркс! Одни пророчествуют о социализме, революции, атеизме, другие хулят Дух Святый своими баснями о третьем завете и прочими ересями. И – верят! Маловерные ко Господу – верят самозванным «пророкам»!

”Дети, не всякому духу верьте, – предупреждает нас апостол, – а проверяйте, от Бога ли он“. А как проверить? Забыл ли, как проверяется, чадое Павле? Еще ли напоминать?..

А что до того, что надо, мол, «освятить плоть»... о безумцы! Еще ли не знают, что плоть наша уже освящена Самим Господом воплотившимся, принявшим на Себя плоть человеческую! И апостол говорит о святости тела нашего как о храме Духа Святаго, в нас живущего! В молитве Пресвятой Богородице не просим ли Ее, Пречистую, – «дом Духа Божественна мене сотвори!.. уврачуи души моея многолетныя страсти». Для чего мы врачуем, очищаем и освобождаем тело и ум свои от страстей? Дабы содеять себя домом Духа Божественного! И Макарий Египетский не порицает плоть, но называет тело одеждой души, прекрасным хитоном, который надо хранить от *раздражения* порочными удовольствиями и страстями.

Уже договорились теперь до того, что христианство-де – ”религия смерти“, ибо монахи плоть свою умерщвляют. Стало – не надо и монашества! Не плоть умерщвляют монахи, но, повторю – по слову Пимена Великого, – страсти.

Уже и таинства Брака им мало, а давайте-ка новое таинство введем – освящение первой брачной ночи! Освящение соития! Любого, надо понимать, до мерзости содомской включительно, чем занимаются, слышать, у вас в Петербурге! Слышишь ли, чадо? Одни безумцы безумствуют и соблазняют, а другие безумцы нерассудительно внимают и соблазняются!

Для чего же господа Мережковские и иже с ними манихейски разделяют цельную природу человека на якобы чистый дух и грешное тело для какого-то их механического соединения в будущем мифическом ”третьем завете“, утверждая, что между ними – пропасть? Не так учит Святая Православная Церковь, не так учит Господь наш Иисус Христос, давая задание каждому христианину самому свободно свершить подвиг очищения, просветления и стяжания Духа Святаго.

Чад, вся полнота истины о спасении человека уже содержится в учении Святой Церкви Православной. Имеешь ли страх Божий – отойди от безумствующих!

Спаси ты, Господи.

Молитвенник твой, многогрешный архимандрит Иоанн».

Отойти от «безумствующих» помог только отъезд «безумствующих» за границу. Мережковский и Гиппиус уехали на два года во Францию, взяв с Павла клятвенное обещание не оставлять их письмами и непременно (непренеменно!) навестить их в Париже.

17

Нелегалом вернулся Петр домой в Россию.

Уезжая, он даже не попрощался с Наденькой, оставив ей короткую записку, где было сначала всего две фразы: «Навеки твой» и «Прощай и будь счастлива». Потом, посидев и поплавав над запиской, присовокупил: «Все равно никто не будет тебя любить так, как я». И снова посидел, и еще поплакал, а из подсознания выплыло: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, приди и возьми ее». Он не помнил, откуда эта фраза, но она лучше всего выражала то, что он чувствовал в эту минуту. Жалко было расставаться с запиской. Так бы сидел над ней и сидел, плакал и плакал. И так жалко себя, так жалко, что слезы сами собой лились и лились. Пропала жизнь!.. Что ему теперь? Записаться в боевую организацию? Проникнуть во дворец?.. Убить... государя? И прославиться! И пусть она!.. О, как она тогда пожалеет!.. Что связала свою судьбу с этим носатым и усатым престарелым Натаном Григорьевичем! (Ах, Боже мой, а у самого Петра ни борода, ни даже усы как следует не растут!)

– Ну зачем же вам, Петр Николаевич, боевая организация? – говорил Наденькин любовник Петру, насмешливо щуя глаза. – Вы еще не созрели. И револьвер вам не дам. Вы его и через границу не перевезете, полицейские отнимут.

– Хорошо, – сдерживая клокотавший в нем гнев, соглашался Петр. – Револьвер я и без вас добуду. Скажите мне только адреса боевых товарищей...

– Милый мой, ну какой же из вас террорист? Настоящий боец жаждет умереть за свободу! А вы, насколько мне известно, даже месячного заключения в тюрьме не понесли...

– Это не ваше дело, понес я или не понес! – вдруг грубо закричал Петр. – Тогда я еще был не готов! Да! А теперь!..

– Ну и что же изменилось теперь? – снова насмешливо произнес Натан Григорьевич.

– Теперь я готов... умереть! – со слезами на глазах выдохнул Петр.

Натан Григорьевич вздохнул.

– Теперь готовы... – повторил он. – Ну что ж, очень хорошо. Я дам вам один адрес в Петербурге. Вы ведь возвращаетесь в Петербург?

Петр судорожно кивнул.

– Но только имейте в виду...

– Я не мальчик! – снова закричал Петр. – Что вы меня держите за ребенка!

– Упаси Боже! Я отлично вижу, что вы вполне взрослый человек, именно потому и решаюсь назвать вам... – И Натан Григорьевич произнес фамилию соратника по партии.

Этим товарищем оказался живущий под чужим именем Лева Гольд.

Лева Гольд принял Петра отчужденно. Он не пожелал вспоминать их совместное революционное прошлое – романтическую поездку в деревню – и сказал, что окончательно отошел от дел и ничего не знает о готовящихся новых покушениях. Говоря с Петром, Лева по-прежнему не смотрел ему в глаза, и Петр подумал, что Лева просто ему не доверяет и потому лжет. Оскорбленный в своих революционных чувствах, он решил осуществить теракт один. Даже еще и лучше, думал Петр. Вся слава достанется ему одному. Надо только выбрать лицо для покушения и достать револьвер. Осуществить вторую задачу оказалось легко, а вот с выбором лица ничего не получалось. Разумеется, больше всего хотелось застрелить Николая, но... как? Как?!

С неделю околачивался Петр возле царского дворца, пока не убедился в полной безнадёжности своего отчаянного намерения. Но ведь сумел же Каляев! – терзался Петр, не думая о том, что с Каляевым подготовительно работала целая группа сообщников, и не один месяц. Тогда он решил застрелить какого-нибудь великого князя или, на худой конец, министра, любого, кто просто попадется ему на улице. Он бродил целыми днями возле великокняжеских

дворцов и даже несколько раз встречал княжеские кареты, но каждый раз терялся от неожиданности, да и кареты мчались с такой скоростью, что невозможно было сообразить, куда и во что стрелять, да ведь и не попадешь на ходу, а только бездарно погубишь... ах, даже и не себя, но идею! Вот если бы встретиться лицом к лицу, тогда бы уж он не промахнулся, тогда бы уж он!..

Так он шел себе по Невскому проспекту, не глядя по сторонам, упорно держа одну и ту же мысль в голове и сам с собой рассуждая. Вдруг он услышал, что кто-то громко зовет его по имени:

– Петя! Петрушенька!

Он обернулся на крик. С пролетки соскочила дама и побежала ему навстречу. Это была мамочка.

Возвращение блудного сына было встречено домашними неоднозначно. Мамочка плакала и все прощала. Глебушка молча тарашил глаза, пожирая брата – настоящего «революционера». Павел отчужденно молчал, не зная, о чем говорить с Петром. Только однажды, когда Петр, как обычно, начал вещать о России как о «тюрьме народов» и «жандарме Европы», он не выдержал и прямо спросил, что он имеет в виду.

– Как что? – не понял Петр. – Ясно что... Тюрьма она и есть тюрьма. Если бы ты посидел с мое, не спрашивал бы. И как же не жандарм, когда все европейские революции подавила?

– Да ведь подавила она по просьбе самих европейских монархов!

– Знаем мы эти просьбы!

– Для того и «Священный союз» заключали. После победы над Наполеоном. Чтобы братски поддерживать друг друга и не допускать разрушительных революций. Что в этом плохого?

– А то и плохо, брат Павел, что все честные люди на земле стремятся как раз к противоположному: покончить с монархиями и установить республики! А Россия, как всегда, плетется в хвосте... просто гигантская грязная свинья на пути мирового прогресса, только и всего. Ничего, мы эту глыбищу по кусочкам, по кусочкам... раздракнем, так что одна только груда дерьма останется. Да мусора. Если б ты видел, как Европа живет! Эх, Павел, Павел!.. Ты смотри, Глебку нашего с пути не сбивай. Пусть отрок на нашу сторону определяется. За нами будущее, Паша, за нами!

Тарас Петрович сердито сопел. Не мог он, депутат Государственной думы (хотя и страстно хотелось), прямо сказать: иди, Петр, с Богом, продолжай начатое дело революции со товарищи! И жить вместе с нелегальным пасынком тоже вроде бы неприлично. Да и надо же в конце концов закончить образование! Решили: пусть пойдет в полицию, повинится. Напишет прошение о помиловании, мол, возраст, глупость, раскаиваюсь, хочу искупить вину и встать на честный путь. А что еще? Или другой вариант – в бомбисты. Но мамочка сказала, лучше уж ее тогда похоронить.

Что ж, написал прошение. Нашлись нужные люди, похлопотали. Вышло прошение с отбыванием оставшегося срока на поселении в том же самом уезде, откуда героическая пара год почти назад сбежала.

И снова Петр в кажущемся ему теперь таким родным Ферапонтове, в том же самом домике, будто и не уезжал никуда. А как вошел в горницу, где они с Наденькой... так слезы и покатились. Синеокая Наталья ни о чем не спрашивает. Сам, поди, скажет, если захочет. А что он ей скажет? Что молодая его жена оказалась понарошечной? Да бросила его ради того, от кого у нее маленький сынок в Нижнем? Он про то и матушке своей постеснялся сказать. А что, если забрать этого сына к себе? На что он им? Они и не собираются в Россию! (Говорили, пока новая революционная ситуация не созреет, в эту страну ни ногой!) А ему... какое бы утешение!.. Ну это, положим, вздор! Никто ему Наденькиного сына не отдаст. Ах, как же ему будет тоскливо и одиноко теперь! И ничто не радует. Томиться ему еще в этой дыре два почти года! А время тя-анется, и надо придумать, чем себя занять.

А хоть бы, к примеру, охотой! Осень. Самая пора. Нашелся товарищ из местных мужиков, знающий толк. Завел собаку. Вот и занятие. Всю осень таскал хозяйке своей то рябчиков, то зайцев да белок. Товарищ по охоте попался из неразговорчивых, а все ж таки пришлось им как-то заночевать в лесу; тут, у костерка, чуть не впервой и поговорили.

– Что же, Иван, много у вас тут нашего брата-социалиста перебивало? – поинтересовался Петр.

– Бывали, – коротко ответил Иван.

– Ну и как? Что местные мужики говорят?

– Об чем?

– Ну... о тех, кто о народе старается. Чтобы к свободе привести. Власть царскую сокрушить.

– А чего ее крушить? Нам царская власть не помеха, – уклонился Иван.

– Что же это вы, всем довольны?

– Слава Богу, жить можно.

– Ну, а вот... революция только что... Мужики помещиков жгли. По всей России рабочие бастовали, что ж ты думаешь, это от хорошей жизни?

– Про ихнюю жизнь не знаю. А что жгли да разбойничали – на то суд Божий грядет, – вздохнул Иван.

– Да ты пойми, мы же для вас стараемся! – завелся Петр. – Вот я... я бы мог сейчас, знаешь!.. А я вместо того... а мы... ради народа! Чтобы народ от эксплуатации помещиков и капиталистов освободить, понимаешь?! Эх, ничего ты не понимаешь! – с горечью воскликнул Петр, глядя, как Иван сосредоточенно рубит сухостой. – Мы для вас жизни не щадим, а вы... как чужие! Будто мы турки какие для вас или французы...

– Как вам сказать, барин... Вроде вы и не турки, и не французы, а только души человеческой в вас не видать.

– Как это не видать? Как это не видать души? Ты что, братец? – взвился Петр. – Да мы душу свою за вас полагаем!

– Это вы за бесов полагаете, – твердо ответил Иван.

– Как это за бесов?! Ты что говоришь?!

– Раз против царя и Бога, стало – за бесов, – упрямо подтвердил Иван.

Петр, хотя ни в каких «бесов», естественно, не верил, был страшно уязвлен. Даже охота ему опротивела, с тех пор и не ходил больше с Иваном в лес. Зимой все больше лежал в кровати и думал. О чем? Да что в голову взбредет, мечтания разные. От нечего делать взялся писать роман (разумеется, о несчастной любви). На десятой странице заскучал, дело остановилось. Томился – ну что бы еще придумать? А то бросался помогать Наталье, но та со смехом прогоняла: «Что это вы, барин, не ваше это дело с печкой возиться». Утром, пока спал, Наталья и дров наносит, и печи растопит, и каша поспеет.

Встретил однажды отца Валериана, хотел было незаметно прошмыгнуть, да заметил батюшка, позвал:

– Что же вы, Петр Николаевич, глаз к нам не кажете? Или обидели мы вас чем? Заходите, коли времечко выберете, на чаек.

Пришлось зайти. Все равно делать нечего – тоска. Сидит, молчит. Батюшка все щебечет про службы, про дела монастырские. И чтобы раз и навсегда отрезать, сказал:

– Я уже неоднократно говорил вам, отец Валериан, я – атеист!

– Что ж, батюшка мой, это бывает... – ласково отозвался поп. – Однако же отчаиваться не нужно. Господь по милосердию Своему волен переменить прискорбное состояние души вашей...

– Это исключено, – снова отрезал молодой человек. – Но я о другом. Я хочу спросить. Отчего это ваш Бог всем веру одинаково не дает? Ведь Ему б это куда как выгодно! Дал бы

всем поровну – все бы и кланялись согласно. А то одному – даром, а другому – хоть тресни! – И Петр громко стукнул по столу кулаком. – Разве это справедливо?

– Так ведь, батюшка мой... Бог разными путями ведет ко спасению. У одного путь простой, а у другого... помните, как Федор Михайлович о себе написал? Мол, осанна моя Христу через горнило многих испытаний прошла. М-да. Не желает Господь дарованную Им человеку свободу ограничивать. Так-то-с. Нынешнему-то недорослю, почитавшему Маркса, кажется, что он всю премудрость превзошел. А Господь ему на это что ответил, помните? «Ты говоришь: ”я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“, а... ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

«Это я, – вдруг пронзительно пожалел себя Петр, – и несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

– А без веры-то в безграничного Бога человек непременно впадет в идолопоклонство, обожествляя то гуманизм, то социализм, то есть определенную организацию общества, то...

– Я и сейчас в это верю, – угрюмо подтвердил Петр.

– Вот-вот... Тут уж что-нибудь одно... А вы, однако же, кушайте, кушайте, не стесняйтесь, матушка старалась, что же вы не кушаете? – ласково угощал отец Валериан.

– Какие у вас дочери, отец Валериан, милые, – переменял тему Петр.

– Дочери? – заулыбался батюшка. – Да... А где это вы моих дочерей рассмотреть успели?

– Так... На праздник в храм заходил. Видел...

– А вот я вас – нет.

– Народу много – вот и не видели.

– Да-а, доченьки мои... Одна, старшенькая, совсем уж постригаться собралась... Что ж, на все воля Божия...

– Отчего это вы не спрашиваете, где моя... жена? – с вызовом спросил вдруг Петр.

– Так что ж любопытничать... Человек, что захочет, сам скажет.

– А если сказать совестно?

– Так ведь, батюшка мой, Бога-то что стыдиться? Господу и так все наше тайное ведомо...

– Вы не Бог!

– Посему в тайну вашего сердца не дерзаю самочинно проникнуть, – благоговейно сложив руки на груди, отвечал батюшка.

Петр замолчал, потом неожиданно для себя сказал.

– Я, собственно, пришел заявить... У меня два курса медицинского факультета кончено. За третий, если честно сказать, я экзаменов вовсе не сдавал по причине... по причине моей веры в социализм и сознательной революционной борьбы! – с вызовом закончил Петр.

– Батюшка мой! – завопил поп. – Так ведь вы для нас – суший клад! Марьюшка! Марьюшка! Ты слыхала? Вот радость-то! Фельдшера-то у нас давным-давно нет, вот вас Господь к нам и направил! Ах, Петр Николаевич, вот он, Промысл-то Божий! Вот он!

С той поры жизнь Петра переменялась. Он обложился книгами по медицине и стал штудировать забытое и пропущенное по причине своей пламенной веры в социализм.

Практика не заставила себя ждать. Прослышав о ссыльном «фельдшере», стали приходить в Ферапонтово болящие из всех окрестных деревень, а совсем немощные присылали лошадей, и Петр покорно ездил и лечил, как мог, убеждая себя, что это он так, от скуки, и стараясь не замечать, что поневоле втянулся в свое лекарское дело и даже стал получать удовольствие.

Со ссыльными он почти не общался. Однажды только, приехав в Кириллов отмечаться в полицию, узнал он об очередном теракте в столице. Неизвестным боевиком убит был градоначальник Петербурга фон дер Лауниц. Убедившись, что Лауниц мертв, убийца тут же на месте застрелился. Полиция, как всегда, задним числом принялась мести арестами направо и налево

и в числе многих арестовала и своего скромного осведомителя Леву Гольда, получившего по суду пожизненную каторгу.

Петр был ошеломлен. Потребовав газет, с жадностью начал читать. Один из заголовков гласил: «Жизнь за царя!». От этого верноподданнического названия ему сделалось тошно, но он все-таки продолжил чтение, страстно желая узнать подробности убийства. «Видный государственный и общественный деятель... из древнего прибалтийского рода... преданностью Отечеству и Престолу... безукоризненный образец верности воинскому и гражданскому долгу... доблестные подвиги во время Русско-турецкой войны...» О Господи, да когда же о деле? «...Постоянно опекал нищих, вдов и сирот... способствовал духовному образованию простого народа... помогал крестьянам, щедро жертвовал на храмы и монастыри... на свои средства строил церковно-приходские школы... помогал Соловецкому монастырю... по-военному четко и мудро погасил в своем крае катившуюся по России революционную смуту... И когда Петербургу понадобилась твердая рука в защите от разгулявшегося терроризма... верный присяге... встал гранитной скалой на пути революционного потока, бешено устремившегося на царя...» А! Вот наконец! «...Он знал, что приговорен террористами к смерти... пятнадцать покушений!.. ...собрались за богослужением при освящении новой клиники Института экспериментальной медицины... по окончании Божественной литургии и молебна Лауниц, подойдя ко кресту... раздались выстрелы... поднял руку для совершения крестного знамения... упал, обогрив своей кровью порог храма Божия... Святая душа стяжала мученическую кончину...» «О Господи, и все это без меня!!» – чуть не застонал Петр, откладывая газету. А ведь это мог бы совершить он! И тогда... Но кто же... кто этот герой, который осуществил акт возмездия? О нем – ни слова! Безымянный сын истерзанного отечества, светлая тебе память!

Теперь бедному Петру стало совершенно ясно, что Лева, отрекшись на словах от партийных дел, его жестоко обманул. Но обманул он его потому, что не доверял, или оттого, что хотел уберечь от опасности, этого он не знал.

Вернувшись в Ферапонтово, он первым делом побежал к отцу Валериану. Бросил на стол газеты и дрожащим голосом выкрикнул:

– Вот, читайте!

– Что это?

– Петербургского градоначальника казнили, Лауница.

– Как казнили?.. Владимира Федоровича?! Ах ты Господи!.. – всплеснул руками отец Валериан. – Что же это они творят! Безбожники!.. Царство Небесное рабу Божию Владимиру... – И батюшка дрожащей рукой перекрестился.

– Вы его знали?

– Как же... знал. Бесподобной души человек!

– Теперь из-за вашего бесподобного человека десятки лучших молодых людей отправят на виселицы и каторгу!

– Кто же это... кто же это посмел?

– Не знаю, тут не указано. Он застрелился. Что ж вы за него-то не помолитесь? Он ведь тоже, поди, христианин! И патриот! И мученик! Жизни своей молодой не пощадил!

– Что ж, – печально проговорил батюшка, – вы правы, Петр Николаевич, и за таких надобно помолиться... За несчастных обесевших юношей с пистолетом... за убийцу и самоубийцу. Тяжела его участь... Прости его, Господи, не ведает, что творит...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.